Е. Магнусгофская



Г. Дайберъ.

Не убій

РИГА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«САЛАМАНДРА»
1929

Е. МАГНУСГОФСКАЯ

НЕ УБІЙ

СБОРНИКЪ РАЗСКАЗОВЪ



РИГА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«САЛАМАНДРА»
1929



ТИПОГР. АКЦ. О-ВА ПЕЧАТНАГО ДѢЛА „САЛАМАНДРА“
Рига, Рыцарская ул. 25.

И пусть убьешь...
Быть можетъ — ложь,
Что ты убійца — убивая...
К. Д. Бальмонтъ.

Человѣкъ, виновный въ пролитіи человѣческой крови, будетъ бѣгать до могилы, чтобы кто не схватилъ его.

Притчи Соломона 28-17

Романъ, какихъ много.

Это былъ самый обыкновенный, пошлый романъ.

Онъ былъ — героическій баритонъ, она — хорошенькая конторщица. Романъ ихъ тянулся нѣсколько мѣсяцевъ, но знали они другъ друга, въ сущности, мало. Онъ зналъ, что Нина бѣдна, получаетъ очень небольшое жалованье и содержитъ больную старушку-мать. Предлагалъ ей иногда денегъ. Она не брала...

Зналъ, что въ ранней молодости у Нины былъ женихъ, который погибъ какой-то трагической смертью. Подробностями Клеонскій не интересовался. Когда женщина говоритъ о своемъ прошломъ — всегда бываютъ слезы. А слезъ онъ не выносилъ.

Нина не знала про своего возлюбленнаго даже — женатъ онъ или холостъ. Жениться на ней онъ, все равно, не собирался.

Ей было двадцать шесть лѣтъ. Ему... Да кто же говоритъ о годахъ артиста?

Безрадостная молодость. Гибель любимаго жениха... Плохо оплачиваемый трудъ. Упреки больной, капризной матери... Случайное знакомство послѣ концерта... Затаенная нѣга и страстный крикъ тоски въ голосѣ баритона...

Остальное понятно само собой...

Нина не знала еще тогда, что пѣвецъ можетъ лгать — какъ лжетъ художникъ, поэтъ, писатель, воплощающій образы, которыхъ нѣтъ въ его душѣ, заставляющій плакать надъ своими твореніями — въ которыхъ нѣтъ правды... А только бездушныя, хоть и яркія, краски...

Въ ихъ романѣ не было поэзіи... Клеонскій никогда не говорилъ ей, что любитъ ее, не позаботился даже о томъ, чтобы создать красивую рамку своимъ желаніямъ. Пугалъ ее иногда своимъ неприкрытымъ цинизмомъ... Но голосъ, голосъ — божественный голосъ пѣвца — держалъ ее въ неразрывныхъ сѣтяхъ...

Нина не разъ хотѣла порвать все, бѣжать отъ него, но каждый вечеръ ее неудержимо влекло въ ярко освѣщенный залъ... И она шла — покорно, безвольно, чтобы только упиться этими звуками...

Нину волновалъ каждый поднесенный ему вѣнокъ, каждый взглядъ, брошенный имъ въ публику... Старалась скрыть свою ревность — не умѣла... А Клеонскій искусственно подогрѣвалъ это чувство: ревность забавляла пѣвца, придавала особую пикантность ихъ отношеніямъ.

«— Женщина, которая ревнуетъ — не охладѣетъ...»

Театральный сезонъ окончился. Клеонскій въ этомъ году не уѣхалъ заграницу, а поселился на ближайшемъ курортѣ. Нина думала — ради нея... Она пріѣзжала къ нему часто.

Но съ каждымъ утромъ, когда возвращалась она домой, ей все тяжелѣе было смотрѣть въ тусклые глаза старушки-матери, вѣрившей въ существованіе какой-то подруги.

А Нина заблудилась въ густомъ туманѣ, сотканномъ изъ безумныхъ ласкъ, нескромныхъ поцѣлуевъ и звуковъ...

Этихъ звуковъ, за которые можно было бы отдать жизнь...

Но внезапно туманъ разступился, и за нимъ Нина увидѣла цѣлое море пошлой, грязной лжи... Нина, наивно вѣрившая, что она у Клеонскаго одна

— убѣдилась, что ей измѣняютъ. Пріѣхала невзначай — и застала у него какую-то блондинку...

На другой день Клеонскій прилетѣлъ въ городъ «разсѣять недоразумѣніе». Говорилъ все, что говорятъ въ подобныхъ случаяхъ мужчины. Да чѣмъ онъ, наконецъ, виноватъ, что женщины такъ и льнутъ къ нему?

Она не вѣрила и плакала. Клеонскій ненавидѣлъ слезы. Сталъ грубъ... Потомъ смилостивился, и, уходя, бросилъ:

— Пріѣзжай завтра — поскучаемъ вмѣстѣ...

Слишкомъ увѣренный въ своемъ обаяніи, Клеонскій не сомнѣвался, что Нина пріѣдетъ.

И Нина пріѣхала.

...Никогда, казалось Клеонскому, не были такъ горячи ласки его любовницы, какъ въ эту ночь.. Или это — іюльскій воздухъ?..

Молчаливыя ласки. И ни слова о ревности. Ни единаго упрека...

— Пріѣзжай въ субботу, — крикнулъ ей вслѣдъ Клеонскій, даже не приподнимаясь, — завтра и послѣзавтра я занятъ.

Эта фраза окончательно рѣшила ея колебанія.

— Значитъ, завтра и послѣзавтра не «мои» дни... Ну, что же — пусть пріѣзжаетъ она, пусть!..

Нина рѣшительно вышла въ столовую, гдѣ стоялъ уже приготовленный завтракъ.

На другой день весь городъ облетѣла молва о самоубійствѣ опернаго артиста Клеонскаго. Газеты передавали различныя предположенія. Слухи, ходившіе по городу, были одинъ чудовищнѣй другого. Въ одномъ сходились почти всѣ: причина самоубійства — романическая.

И называли героинями несчастной любви артиста самыхъ высокопоставленныхъ дамъ...

На похоронахъ былъ весь городъ. Многія театралки плакали навзрыдъ. Ученицы драматическихъ курсовъ и хористки стояли съ заплаканными глазами. Хорошенькая блондинка, жена одного изъ видныхъ чиновниковъ города, долго крѣпилась, безсильно опершись на руку своего мужа. Но, когда гробъ былъ опущенъ въ могилу, и священникъ бросилъ первую горсть земли, — она не выдержала, и, забывъ о мужѣ, о публикѣ, о грозящемъ скандалѣ — забилась въ истерикѣ...

Тогда изъ толпы выступила блѣдная, съ впалыми щеками, постарѣвшая за три дня Нина.

Взглянула на священника, на зіявшую могилу, которую уже забрасывали землей, на молчаливую толпу, И, остановивъ свой взоръ на рыдавшей блондинкѣ, сказала полиціймейстеру, стоявшему съ ней рядомъ:

— Арестуйте меня. Это я отравила Клеонскаго. Я тоже была его любовницей...

Лоттхенъ.

Ихъ было три.

Три женщины, совершенно различныя во всемъ: взглядахъ, наружности, характерѣ.

Татьяна Ивановна — безцвѣтная шатенка, вялая, апатичная, болѣзненная, всегда недовольная, часто заплаканная, обрюзгшая уже къ тридцати годамъ.

Ольга Николаевна — высокая брюнетка съ большими сѣрыми глазами, которые казались въ минуты гнѣва зелеными. Всѣ движенія ея порывистыя, рѣчь быстрая.

Лоттхенъ — миніатюрная блондинка съ «ангельскими» голубыми глазами, хрупкая, какъ севрскій фарфоръ.

И всѣ эти три женщины, столь несхожія во всемъ, любили одного и того же мужчину.

Тотъ, кого онѣ любили, былъ самый обыкновенный человѣкъ. Можетъ быть, немного лучшій, чѣмъ многіе, но не сдѣлавшій въ своей жизни ровно ничего, чѣмъ могъ бы выдѣлиться изъ толпы. Не имѣвшій ровно никакихъ способностей и талантовъ.

Въ юности, еще на школьной скамьѣ, да въ полуголодные университетскіе годы, были у него какіе-то порывы, стремленія въ высь, мечты о помощи ближнимъ.

Но потомъ все заглохло.

Любовь тоже обманула. Любимая женщина оказалась полнымъ ничтожествомъ. Онъ понялъ это слишкомъ поздно. Порядочность помѣшала ему вырваться на свободу. Онъ женился.

И пошли прахомъ всѣ мечты молодости...

Повседневная пошлость властно вступила въ жизнь Владимира Петровича. И во образѣ ворчливой тещи, и во образѣ капризной жены, и во образѣ распущенныхъ дѣтей. Жизнь выдвинула на первый планъ матеріальные интересы.

Владимиръ Петровичъ поступилъ на казенную службу, на тепленькое мѣсто. И сдѣлался такимъ же, какъ всѣ... Служилъ, работалъ, получалъ повышенія, наградныя. Нанялъ хорошую квартиру. Завелъ приличную обстановку.

Но чувствовалъ себя неудовлетвореннымъ. Хотя съ годами привыкъ и чувство это стало какъ то глуше. Ушло въ глубь души... Въ самую ея глубь...

И внезапно судьба столкнула его съ женщиной, напомнившей ему идеалъ его ранней молодости, вызвавшей въ немъ снова забытые порывы. Въ уютной гостиной молодой художницы онъ находилъ и покой, и утѣшеніе. Черпалъ силы для своей повседневной будничной жизни...

Одно облако нарушало иногда гармонію ихъ любви: Ольга была очень ревнивой. Но ревность ея, въ первое время, за неимѣніемъ пищи, проявлялась сравнительно рѣдко.

Два года длился ихъ романъ. Потомъ нашлись досужія кумушки, которыя «открыли Татьянѣ Ивановнѣ глаза».

Пошлые упреки, обмороки, слезы. Вмѣшательство достойной мамаши.

Но Владимиръ Петровичъ, покладистый въ обыденной обстановкѣ, далъ неожиданный отпоръ, ког-

да попробовали коснуться грязными руками того единственно прекраснаго, что было въ его жизни.

Произошелъ разрывъ. Теща уѣхала, поклявшись «не переступать порога дома этого гнуснаго человѣка».

Стало еще противнѣе. Жена устраивала сцены чаще. Иногда по нѣскольку дней, не будучи въ сущности больной, не вставала съ постели. Дѣти, слушавшіяся только строгой бабушки, распустились окончательно.

Пришлось нанять гувернантку. Но ни одна не могла долго ужиться со сварливой Татьяной Ивановной.

И вотъ вошла въ жизнь Владимира Петровича новая женщина — маленькая Лоттхенъ — блондинка съ «ангельскими» глазами.

Вошла она въ его жизнь съ того вечера, когда, позвонилась у дверей и робко отвѣтила на вопросъ:

— Я по объявленію.

Владимиру Петровичу показалась она слишкомъ молодой, но понравилась дѣтямъ и Танѣ, и на другой же день водворилась въ маленькой комнаткѣ рядомъ съ дѣтской.

Татьяна Ивановна хворала недѣлями, и Лоттхенъ взяла въ свои маленькія, но энергичныя ручки и дѣтей, и хозяйство. Татьяна Ивановна привыкла къ ея заботамъ. Владимиръ Петровичъ смотрѣлъ на нее, какъ на старшую дочь. Ей шелъ всего восемнадцатый годъ...

И долго не замѣчалъ, что Лоттхенъ влюблена...

Она была влюблена первой дѣвической любовью. По ночамъ, запершись въ своей каморкѣ, заливалась слезами, считая себя ужасно-ужасно несчастной. Потомъ стала убѣждать себя, что и ду-

мать то о немъ — грѣхъ, что онъ — человѣкъ женатый. Но гдѣ же было устоять нѣмецкимъ нравственнымъ принципамъ, если Владимиръ Петровичъ жилъ подъ одной съ ней кровлей?

У Татьяны Ивановны женскаго самолюбія было мало. О томъ, что мужъ измѣняетъ ей, знали всѣ знакомые — отъ нея же самой. Не сочла она нужнымъ скрываться и передъ Лоттхенъ, которую считала своимъ человѣкомъ.

Однажды вечеромъ, когда мужа не было дома, разсказала она гувернанткѣ, со многими охами и вздохами, исторію его измѣны.

Этотъ вечеръ открылъ передъ дѣвушкой новый міръ. Слова Татьяны Ивановны были для нея словами освобожденія. Значитъ, она отниметъ его не у законной жены, а у какой-то чужой женщины, конечно, дурной и злой... На всю жизнь взглянула теперь Лоттхенъ подъ новымъ угломъ.

Ей удалось увидѣть Ольгу въ театрѣ, съ Владимиромъ Петровичемъ. Она долго не сводила бинокля со своей счастливой соперницы, изучая ея черты.

И всю ночь снились ей эти сѣрые. блестящіе глаза...

Но и Ольга увидѣла Лоттхенъ.

На Рождествѣ вѣдомство, въ которомъ служилъ Владимиръ Петровичъ, устраивало въ клубѣ елку, и Ивановы шли обычно туда всей семьей. Но на первый же день праздника Татьяна Ивановна заболѣла, и мужу пришлось взять дѣтей съ Лоттхенъ.

Ольга Николаевна никогда не бывала въ этотъ день въ клубѣ, чтобы не встрѣчаться съ Татьяной Ивановной. Но на этотъ разъ ее затащили знакомые. Цѣлой компаніей гуляли они между рѣзвящейся дѣтворы. Ольга, разсѣянно слушая анекдоты знакомаго доктора, искала глазами Владими-

ра. И вдругъ увидѣла его, наклонившагося близко-близко къ хорошенькой блондинкѣ, смотрѣвшей на него такими наивно-влюбленными глазами.

Надменно отвѣтила Ольга на поклонъ Владимира Петровича, не ожидавшаго ее встрѣтить — и смѣрила глазами Лоттхенъ.

Взгляды ихъ встрѣтились. И трудно было сказать — въ чьихъ глазахъ было больше ненависти...

— Ну, можно ли быть такой несуразной, Оля? Онъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Вѣдь не могъ же я одинъ возиться съ дѣтьми. И опять-таки, не могъ я, бросивъ дѣтей, побѣжать за тобою!... Если бы гувернантка и не выдала меня, то не забывай — Вѣрочка большая, она уже все понимаетъ... Зачѣмъ же создавать дома адъ?..

— А вчера, когда я встрѣтила тебя съ ней на улицѣ?

— Опять-таки, мы были же съ дѣтьми... И вышли изъ дому вмѣстѣ совершенно случайно... Ты скоро запретешь мнѣ находиться съ ней въ одной комнатѣ... Пойми же, что мы живемъ въ одномъ домѣ!...

— Отлично понимаю... И знаю, почему ты сталъ теперь рѣже бывать у меня. Я не хочу, чтобы она жила у васъ, — прибавила она неожиданно.

— Не могу же я, ради твоего каприза, выгнать на улицу бѣдную дѣвушку... Она, во-первыхъ, очень нуждается, а потомъ, я не вижу никакой надобности отказывать ей: она исполняетъ свои обязанности добросовѣстно...

— Я не хочу!

— Какая ты эгоистка... И какая злая, Оля... И потомъ... неужели ты не сознаешь, что своими подозрѣніями только наталкиваешь меня на мысль? Никогда я не видѣлъ въ ней женщины... Она для меня — дочь, младшая сестра...

— Но она въ тебя влюблена!

— Да брось ты эти глупости — смѣшно!..

— Я видѣла, какими глазами смотрѣла она на тебя... тамъ, на елкѣ... Она должна отъ васъ уйти!

— Да пойми, что это невозможно... Есть же у меня, наконецъ, обязанности передъ семьей... Ты отлично знаешь, какъ мы мучались съ гувернантками... Лоттхенъ — первая, которая сумѣла поладить съ женой...

Ольга Николаевна замолчала. Но въ глазахъ ея продолжала свѣтиться та же упрямая мысль...

Владимиръ Петровичъ поднимался по лѣстницѣ, умиротворенный. Онъ помирился съ Ольгой послѣ устроенной ею сцены. Ахъ, теперь сцены эти стали такъ часты! Встрѣча съ Лоттхенъ лишила Ольгу покоя. Эта ревность, эта ревность... Какъ ядомъ, отравляла она ихъ отношенія... И сегодня, — что это былъ за дикій порывъ!

— Я тебя люблю, люблю, и потому ревную, — шептала она, какъ въ бреду, — я вѣрю, что ты мнѣ ни разу не измѣнилъ... Но если ты измѣнишь мнѣ... я убью ее! Убью, кто бы она ни была... Хотя бы твоя жена...

— Ахъ, Ольга, Ольга, — вздохнулъ Владимиръ Петровичъ, отыскивая ключъ.

— Какая досада — никогда не забывалъ ключа... Придется позвонить... И прислуги то нѣтъ, утромъ жена расчитала...

Отперла Лоттхенъ.

— Лоттхенъ, да вы не ложились!

— Я всегда долго читаю — днемъ некогда.

— Нехорошо, дитя мое. Въ два ложится — въ семь встаетъ.

— Развѣ вы не хотите ужинать? — спросила Лоттхенъ, видя, что онъ направился къ себѣ. — Сегодня я готовила.

— Собственно, я ужиналъ въ гостяхъ...

Онъ все же послѣдовалъ за Лоттхенъ въ столовую.

— Что это? Неужели котлеты съ зеленымъ горошкомъ? Лоттхенъ, вы угадываете мои вкусы...

— А здѣсь — ваши любимые грибы...

— Вы удивительная прелесть, Лоттхенъ... — добродушно сказалъ Владимиръ Петровичъ, цѣлуя придвинувшую тарелку руку.

Но она вырвала руку и убѣжала...

— Она влюблена въ тебя — вспомнились ему Ольгины слова.

А дѣвушка лежала на постели, борясь съ истерическими рыданіями.

Лоттхенъ не спала всю ночь. То, что проснулось въ ея душѣ, когда она узнала, что у Владимира Петровича есть любовница, властно вступило въ нее послѣ перваго — невиннаго — поцѣлуя руки.

Наивная Лоттхенъ съ чистыми глазами умерла. На утро съ постели встала другая.

Страстная женщина...

Однажды Владимиръ Петровичъ, вернувшись изъ клуба очень поздно и, противъ обыкновенія, навеселѣ, услышалъ, — какъ показалось ему, — какіе-то стоны. Онъ заглянулъ въ спальню жены — Таня спала мирнымъ сномъ. Открылъ дверь въ дѣтскую — оттуда доносилось ровное дыханіе спящихъ дѣтей. Очевидно, стоны шли изъ комнаты гувернантки. Онъ постучалъ.

— Вы больны, Лоттхенъ?

— Войдите, пожалуйста.

— Что съ вами?

— Мнѣ очень нехорошо.

— Не послать ли за докторомъ?

— Нѣтъ, не надо... Посидите нѣсколько минутъ со мной... Такъ страшно одной.

Владимиръ Петровичъ видѣлъ, что у дѣвушки сильный жаръ.

Онъ сѣлъ на стулъ у кровати.

— Не уходите, — сказала Лоттхенъ, когда Владимиръ Петровичъ сдѣлалъ какое-то движеніе, и схватила его за руку.

Потомъ утихла. Онъ думалъ, что Лоттхенъ заснула, и хотѣлъ осторожно освободить свою руку. Но она прошептала опять:

— Не уходите...

— Я не ухожу...

Ему хотѣлось спать. Въ клубѣ было выпито немало, а пилъ онъ рѣдко.

— Я васъ люблю, — сказала Лоттхенъ внезапно, но такъ тихо, что онъ подумалъ: послышалось.

— Люблю, — повторила Лоттхенъ еще разъ и прижалась губами къ его рукѣ.

— Лоттхенъ, что вы дѣлаете?..

— Вы не хотите позволить даже этого, — сказала она, когда Владимиръ Петровичъ освободилъ свою руку. И, отвернувшись къ стѣнѣ, заплакала — громко, по дѣтски.

— Еще услышитъ жена, — съ тоской подумалъ онъ, и всталъ.

— Вы совсѣмъ больны... Постарайтесь заснуть...

Владимиръ Петровичъ направился къ двери.

— Не уходите, не уходите! — капризно просила она.

Лоттхенъ сѣла въ постели. Владимиръ Петровичъ стоялъ въ нерѣшительности въ дверяхъ:

— Ложитесь, Лоттхенъ,—сказалъ онъ мягко, и, подойдя къ больной, успокоительно дотронулся до ея плеча. Но Лоттхенъ поняла его прикосновеніе иначе и неожиданно обвила его шею своими нагими горячими руками.

— Поцѣлуйте меня, поцѣлуйте! — шептала она, какъ въ бреду, — я хочу хоть на минуту узнать счастье взаимной любви... Вѣдь я еще никого не любила... Никого и никогда не цѣловала...

Ея горячія губы искали его губъ. И, почти безсознательно, отдалъ онъ ей поцѣлуй.

— Я люблю тебя, люблю, — продолжала шептать Лоттхенъ, прижимаясь къ нему всѣмъ своимъ полунагимъ тѣломъ.

У него начинала кружиться голова...

Рядомъ заплакалъ ребенокъ. Они не слышали.

Татьяна Ивановна проснулась. Надѣла туфли и прошла въ дѣтскую. Ей было холодно. Билось сердце отъ внезапнаго пробужденія. Поднималась досада на гувернантку, которая спитъ рядомъ и не слышитъ.

Успокоивъ испугавшуюся чего-то во снѣ трехлѣтнюю Соню, Татьяна Ивановна подошла къ комнатѣ Лоттхенъ, и быстрымъ движеніемъ раскрыла дверь...

На другой день Лоттхенъ безъ памяти отправили въ больницу. Татьяна Ивановна написала матери письмо въ двадцать страницъ. А встрѣтивъ на улицѣ Ольгу, смѣрила ее торжествующимъ взглядомъ.

Ольга поняла значеніе этого взгляда: она знала уже все.

Отъ самого Владимира Петровича.

Черезъ полгода Владимиръ Петровичъ встрѣтилъ Лоттхенъ на улицѣ. Онъ былъ въ отвратительномъ настроеніи. Цѣлую недѣлю не успѣвалъ, за массой служебныхъ дѣлъ, заглянуть къ Ольгѣ. Сегодня получилъ отъ нея письмо съ просьбой, вѣрнѣе — требованіемъ — притти вечеромъ непремѣнно. А именно сегодня то онъ и не могъ: обѣщалъ итти съ женой въ оперу. Такое желаніе возникало у Татьяны Ивановны не чаще двухъ разъ въ годъ, и отказать ей — значило создать недѣли на двѣ дома адъ. Не пойти къ Ольгѣ — это похуже...

А тутъ еще эта Лоттхенъ... Да около самаго Ольгинаго дома.

— «Три богини спорить стали» — съязвилъ самъ надъ собой Владимиръ Петровичъ, — разсѣянно слушая ея развязную — какъ будто слишкомъ развязную — болтовню.

Лоттхенъ вообще измѣнилась. Въ ней было что-то неуловимо новое, что дѣйствовало на него непріятно.

Она болтала, что у нея хорошее мѣсто, въ семьѣ директора опернаго театра, что ее тамъ любятъ.

— Я такъ люблю музыку... И теперь я могу такъ часто ходить въ оперу...

— Я тоже иду сегодня въ оперу, — разсѣянно сказалъ Владимиръ Петровичъ.

— Съ ней?

— Да, съ ней.

Они не поняли другъ друга. Лоттхенъ спрашивала про Ольгу, онъ думалъ о женѣ...

Ивановъ зашелъ къ Ольгѣ, предупредить ее, чтобы не ждала его вечеромъ. И очень пожалѣлъ.

— Больше недѣли не былъ у меня — забѣжалъ на минутку... Надо итти въ театръ — подумаешь, нужда какая!..

— Да ты, никакъ, начинаешь ревновать меня даже къ женѣ? — возмутился Владиміръ Петровичъ и ушелъ не простясь.

А она, со всей экспансивностью своей несдержанной натуры, крикнула ему вслѣдъ, перегнувшись через перила:

— Я тебѣ отомщу, вотъ увидишь...

Сосѣдка открыла любопытно дверь.

Спектакль затянулся. Было много вызововъ. Въ гардеробѣ пришлось тоже ждать долго. Потомъ Татьяна Ивановна копалась цѣлую вѣчность съ ботами. Извозчики, конечно, всѣ оказались разобранными. Татьяна Ивановна не любила и не умѣла ходить пѣшкомъ. Она нудно ныла, повиснувъ на рукѣ мужа.

Проходили мимо дома, гдѣ живетъ Ольга. Раздраженіе Владиміра Петровича давно улеглось, и онъ съ досадой думалъ о томъ, что нельзя зайти къ ней помириться.

— Разволновалась, бѣдная, навѣрное, не спитъ, — съ нѣжностью думалъ онъ.

Но наверху въ ея окнахъ было темно.

У Татьяны Ивановны (съ ней вѣчно случалось что-нибудь) разстегнулся ботикъ. Она остановилась поправить его у самаго подъѣзда. Владиміръ Петровичъ смотрѣлъ на темныя Ольгины окна, и думалъ:

— Если бы знала ты, Оля, какъ я близко — и какъ далеко...

Впослѣдствіи, даже на судѣ, Владиміръ Петровичъ никогда не могъ припомнить, какъ это случилось: былъ выстрѣлъ... два крика, одинъ за другимъ... страшныхъ, животныхъ крика ..

Помнилъ только, какъ растерянно подхватилъ истекавшую кровью жену...

Наступили кошмарные дни.

Татьяна Ивановна была убита наповалъ.

Ея похороны. Разспросы дѣтей.

Арестъ Ольги, на которую указали добрые знакомые. Сосѣдка выступила свидѣтельницей, какъ Ольга, въ день убійства, выкрикивала угрозы...

Уличная грязь, полицейскій сыскъ вторглись въ красивый храмъ его любви...

Когда увидѣлъ онъ Ольгу тамъ, въ тюрьмѣ, онъ еле могъ говорить отъ волненія.

— Оля, какъ ты могла?..

Что-то сдавило ему горло.

А она посмотрѣла на Владимира Петровича большими — теперь потухшими — глазами и спросила грустно-грустно:

— И ты этому вѣришь?

И странный взглядъ этихъ чужихъ теперь глазъ остался надолго въ памяти Иванова.

Потянулось судебное разбирательство. Таскали на допросы. Имя Ольги, забрызганное грязью, не сходило со столбцовъ газетъ.

Скрѣпя сердце, отправилъ онъ дѣтей къ тещѣ. Зналъ, что ихъ возстановятъ тамъ противъ него. Но все-таки тамъ было лучше. Вѣдь Вѣрочкѣ шелъ одиннадцатый годъ. Свиданій съ Ольгой онъ больше не добивался: слишкомъ тяжело... Адвокатъ говорилъ, что дѣло почти безнадежное: хладнокровное, преднамѣренное убійство...

Каторга...

Прошло четыре мѣсяца съ той ночи, когда роковой выстрѣлъ навсегда нарушилъ сказку его любви.

День слушанія процесса былъ назначенъ. Владимиръ Петровичъ вернулся отъ адвоката и собирался уже ложиться спать, когда посыльный при-

несъ письмо. Ивановъ распечаталъ сѣрый конвертъ, отъ котораго пахло карболкой, надписанный чужимъ почеркомъ, и прочелъ:

— «Я умираю... Должна съ Вами говорить... Городская больница, баракъ 7, комната 5.

Лоттхенъ».

Не до Лоттхенъ было ему теперь. Но совѣсть не позволила отказать умирающей. Вѣдь у нея никого не было на свѣтѣ... Онъ одѣлся и поѣхалъ въ больницу.

Развѣ это — Лоттхенъ, эта блѣдная, изможденная, умирающая больная? И глаза стали не тѣ: мутные, непріятные...

— Я умираю, — тихо сказала она. — Я хотѣла молчать и никто не узналъ бы моей тайны... Но вчера я видѣла смерть... Она пришла и стала тамъ, въ углу... И скалила зубы... Понимаете: моя смерть... и тогда я поняла, что такъ умереть я не могу... Боже мой, какъ вы постарѣли! — внезапно прервала она себя.

— Вы что-то хотѣли сказать, — мягко замѣтилъ онъ.

— Что я хотѣла сказать? — загадочно протянула она, и въ глазахъ ея зажегся какой-то огонекъ. — Вы знаете, что это я убила ее? Что вы такъ смотрите на меня? Я не брежу... Берите карандашъ и записывайте... А я потомъ подпишусь... Можно будетъ еще позвать двухъ свидѣтелей — сестру и сидѣлку. Готовы? — Вѣдь я ошиблась. Да, ошиблась. Я не желала никакого зла вашей женѣ. Я хотѣла убить ту... вашу...

Я не знаю, когда у меня впервые мелькнула эта мысль... Можетъ быть, той ночью... Помните ту ночь?.. Помните?..

Но я не гнала этой мысли... Я наслаждалась ею. Я скоро не могла думать больше ни о чемъ.. Я ждала случая... И онъ представился... Вы сказали: «Я иду въ театръ съ ней»... Вѣдь вы всегда ходили въ театръ съ той... Съ женой — почти никогда... Какъ я могла думать... Я ждала въ подъѣздѣ, когда вы подойдете. Вы понимаете: я ждала этой минуты, какъ ждутъ любовнаго свиданія... Я слышала уже издали вашъ голосъ. Она молчала. Было темно. Развѣ могла я подозрѣвать, что закутанная фигура — не она?.. Вы остановились у порога. Я рѣшила, что моментъ удобенъ... Остальное вы знаете. Когда вы наклонились надъ ней, я выскочила изъ подъѣзда и убѣжала...

Я узнала о своей ошибкѣ изъ газетъ. И думала, что сойду съ ума. Вѣдь я хотѣла убить ее, а наоборотъ — помогла вашему счастью... Теперь не оставалось препятствій вашему браку съ ней...

Но когда я узнала объ арестѣ Ольги — о, какъ я торжествовала тогда!.. Месть оказалась слаще, чѣмъ я думала... Видѣть ее, облитую грязью! Наслаждаться мыслью, что и вы вѣрите въ ея вину!..

Я ждала дня, когда судъ вынесетъ обвинительный приговоръ. Я каждый день читала газеты... Тогда я хотѣла притти къ вамъ прежней Лоттхенъ, и сказать:

— У дѣтей вашихъ нѣтъ матери... Они привязаны ко мнѣ... Я замѣню имъ мать... Мнѣ ничего не надо... Я хочу быть только близъ васъ и вашихъ дѣтей...

Вы вѣдь не могли знать, что прежняя Лоттхенъ умерла въ ту ночь, когда она узнала первыя ласки...

Я заболѣла. Была долго больна. Хозяева положили меня сюда, заплатили за комнату — и забыли... Навѣщали очень рѣдко... Иногда присылали что-нибудь...

Я лежала дни и ночи, мечтая о своемъ выздоровленіи... Но вотъ, видно, не судьба...

Угрызеній совѣсти у меня не было: вѣдь я же не хотѣла убивать Татьяну Ивановну, она хорошо относилась ко мнѣ.... Ну, а для нея такъ лучше: больные въ тягость себѣ и другимъ...

И только вчера вечеромъ охватилъ меня ужасъ. Я уже говорила: увидѣла смерть. Умираю... Зачѣмъ? — Жалко. А впрочемъ, можетъ быть, такъ лучше.... Нажмите кнопку... Пусть придутъ свидѣтели... Можете предъявить завтра на судѣ... Не знаю, буду ли я завтра еще жива. Я не хотѣла бы дожить до ея освобожденія. Что же не идетъ сидѣлка? Звоните еще!

А вы думаете, что будете съ ней счастливы?

Ну, ее освободятъ, вы женитесь на ней, уѣдете куда-нибудь, гдѣ не знаютъ о процессѣ... Но развѣ же вы забудете эти сомнѣнія, эту грязь, что осѣла на вашей любви? А она — развѣ она забудетъ, что и вы повѣрили?... Отвернулись отъ нея, какъ всѣ? — Никогда...

Вы видите, я все-таки отомстила...

Дурной глазъ.

— Да гдѣ это ты, матушка моя, пропала? Неужели всенощная тянулась до десяти часовъ?

Дѣвушка молчала, виновато опустивъ въ землю глаза. Руки ея, теребившія носовой платокъ, выдавали сильное волненіе.

— Да нѣтъ, Анна Павловна, всенощная кончилась раньше, — затараторила благообразная старушка въ темномъ платкѣ, — а вотъ съ Катенькой неладное приключилось. Поблѣднѣла это она въ церкви, гляжу я, думаю: вотъ,-вотъ упадетъ... Я вывела ее посидѣть въ притворъ. Ну, а какъ пошли люди-то изъ церкви, я побоялась идти съ ней, чтобы не затолкали. Ну, такъ мы и переждали, пока всѣ разошлись, и пошли тихонечко.

— Что это съ тобой, Катенька? — мѣняя тонъ, спросила мать, вглядываясь въ блѣдное лицо дѣвушки.

— Лихорадитъ, мамаша, — нехотя отозвалась та, и снова передернула ее дрожь.

— Простудилась, видно, какъ намедни отъ тетки подъ проливнымъ дождемъ возвращалась. Ну, иди, Господь съ тобою.... — Мать перекрестила дѣвушку широкимъ крестомъ. — Ерофѣевна принесетъ тебѣ чаю съ малиной.

Въ спальнѣ полутемно. Душно. Пахнетъ не то мятой, не то ромашкой. Катерина сидитъ въ одной рубашкѣ на постели и, покачиваясь со сто-

роны на сторону, какъ человѣкъ, у котораго что-нибудь болитъ, смотритъ въ одну точку.

— Легла бы, Катюша, что такъ сидѣть, — говоритъ Ерофѣевна.

— Нѣтъ, я не хочу спать... Мнѣ страшно, Ерофѣевна...

— Ну, чего же, ласточка моя, вѣдь слышала ты: все будетъ хорошо.

— Страшно, очень страшно.... Ерофѣевна, развѣ же это правда, что, ежели желать человѣку зла — то исполнится?...

— Конечно... Сама знаешь, если молиться за кого, желать добра, благословлять, — то Богъ услышитъ и пошлетъ по молитвѣ. То же и зло: если пожелать кому, да какъ слѣдуетъ — сбудется, безпремѣнно сбудется...

— А ежели человѣкъ ни въ чемъ неповинный?

— А это уже все равно: проклятіе, какъ и благословеніе — оно слѣпое, кому послано, къ тому и прицѣпится...

Наступило молчаніе. Гдѣ-то, на другомъ концѣ дома, гулко и протяжно, пробило одиннадцать часовъ.

— Ерофѣевна!

— Что, милая?

— А вѣдь это — большой грѣхъ... желать человѣку зла? Вѣдь Богъ накажетъ за это?

— Не накажетъ тебя, голубушка моя. Ты, вѣдь, чистая. А грѣхъ твой я на себя возьму.. Вотъ, дастъ Богъ, поправлюсь ногами, пойду на богомолье, въ Кіевъ — всѣ грѣхи заодно замолю.. А ты бы легла, право, а то, неровенъ часъ, мамаша зайдетъ — еще не поздно...

Дѣвушка послушно легла, но сна не было ни въ одномъ глазу. И настойчиво вспоминалась все одна и та же картина.

Темная, мрачная комната, освѣщенная одной свѣчей. Какая то странная жаровня съ потрескивающими угольками. На огнѣ — черный котелокъ. Свѣтъ падаетъ на лежащее въ водѣ кольцо, и красный его рубинъ кровавымъ глазомъ смотритъ въ темноту. Наклонившись надъ котелкомъ, шепчетъ какія-то зловѣщія слова отвратительная, растрепанная старуха.

— Смотри теперь въ воду, дѣвушка, видишь?

— Ничего не вижу.

— Смотри еще, смотри...

Старухины слова такъ и рѣжутъ ухо.

— Ну?

— Не вижу, не вижу...

Старуха проводитъ беззвучнымъ кошачьимъ жестомъ по ея чернымъ волосамъ. Катерина устало закрываетъ глаза. Наступаетъ тишина, нарушаемая только потрескиваніемъ углей и шипѣніемъ воды.

— Открой глаза! — приказываетъ старуха

Опущенныя вѣки поднимаются и широко открытые зрачки смотрятъ прямо въ воду.

— Видишь?

— Вижу, вижу... Это вѣдь я, какъ въ зеркалѣ... Я сижу у окна. Темно. Сегодня обѣщалъ придти Ваня. Ерофѣевна — слышишь — онъ уже свиститъ. Ерофѣевна, да бери же скорѣй ключъ отъ калитки... Боже мой, какая она копунья... Да не забудь привязать Борбоску, а то помнишь, какъ онъ напугалъ насъ въ прошлый разъ. Барбоска, Барбоска!.. Ну, Ерофѣевна, возьми же его!.. Ваня, милый... Нѣтъ, не надо... Я сама сойду сейчасъ въ садъ, вѣдь тепло... Милый, какъ долго ты заставилъ себя ждать!...

Старуха проводитъ рукой надъ водою.

— Ваня, гдѣ же ты? Ваня!... Ахъ, вотъ онъ... Какой блѣдный и грустный... Что съ тобой? Или нѣтъ, молчи, я знаю... Завтра твоя свадьба... Ахъ,

Ваня, Ваня... Если бы ты любилъ меня, не побоялся бы ослушаться отца... Видно, тебѣ его деньги дороже, чѣмъ моя любовь... Боишься — лишить наслѣдства.... Говоришь — будешь всю жизнь любить меня... Неправда, скоро разлюбишь... Развѣ можно не любить жену-красавицу? Ваня, развѣ же я хуже ея? Развѣ мои черные глаза не ярче ея тусклыхъ очей? Развѣ мои руки не бѣлѣе ея рукъ? Развѣ мои черныя косы не прекраснѣй ея безцвѣтныхъ волосъ?...

И снова проводитъ старуха костлявой рукой надъ котломъ. Сдвинулись черныя брови. Злой огонь загорается въ широко открытыхъ очахъ дѣвушки.

— Подлая разлучница!... Что смотришь на меня, улыбаешься? Думаешь — онъ будетъ любить тебя? Никогда, никогда... Какъ же я ненавижу твои голубые глаза, твои красивыя плечи!... Будь ты проклята!...

Крикомъ вырывается это у Катерины... Рука поднята, словно хочетъ нанести ударъ врагу.

— Тише, тише! Рано еще, дѣвушка, заносить руку, — невозмутимо говоритъ старуха. Катерина снова закрываетъ глаза. Въ жуткой комнатѣ молчанiе. Ерофѣевна съ безпокойствомъ смотритъ на блѣдное лицо дѣвушки.

— Гдѣ я? Ерофѣевна, ты здѣсь?

— Здѣсь, здѣсь, ласточка моя... Напугала ты насъ всѣхъ, какъ крикнула на Надьку.

— Бабушка, — хватаетъ Катерина костлявую, сморщенную руку ,— изведи ты ее!... Все отдамъ я тебѣ, что имѣю!... Денегъ нѣтъ у меня, мамаша не даетъ... Но у меня есть бриллiантовыя серьги, есть дорогой перстень, жемчужное ожерелье. Я все отдамъ тебѣ... Изведи только ее, подлую!...

Алчностью загораются маленькiе старухины глазки.

— Я могу дать тебѣ зелья, — шепчетъ еле слышно она, — подмѣшай въ питье — въ три дня сгоритъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, не хочу я этого, бабушка... За это на каторгу идутъ.

Усмѣхается бабка. И отъ улыбки — еще отвратительнѣй ея лицо.

— За Камалкино зелье еще никто на каторгу не пошелъ. Ну, коли ты трусиха, мы иначе сдѣлать можемъ... И не я сдѣлаю — сама сдѣлаешь... Ты ненавидишь ее, отвѣчай?

— Ненавижу, бабушка.

— Желаешь ей погибели?

— О, еще какъ! — глаза Катерины сверкнули злобой.

— Ну, вотъ и желай. Желай каждый часъ, каждую минуту. Проснешься ночью — вспомни ее недобрымъ словомъ. Какъ закричала ты давеча: «Будь проклята», — такъ и кричи каждый часъ твоей жизни... Злые глаза у тебя, дѣвушка, — живо изведешь супротивницу...

— Развѣ у меня дурной глазъ, бабушка? А я и не знала...

— Дурной, дурной... Охъ, дурной для твоихъ супротивниковъ... Ну, иди домой, ложись спать, и не забывай совѣтъ Камалкинъ. Увидишь: не выпадетъ еще снѣгъ, какъ не будетъ у тебя злой разлучницы...

— Ерофѣевна, Ерофѣевна!... Ну, вотъ, ты дремлешь и не слышишь, какъ онъ свиститъ...

— Да чудится тебѣ, ласточка моя. Такъ и вечоръ было: свиститъ, говоритъ, свиститъ, а вышла къ калиткѣ — нѣтути никого. Не придетъ онъ сегодня — поздно, а вотъ завтра утречкомъ я...

— Не надо, Ерофѣевна... Онъ не придетъ, видно, никогда. Вотъ уже двѣ недѣли, какъ не

кажетъ глазъ. Не любитъ онъ меня больше, вотъ что. Ерофѣевна, видала, какими глазами смотрѣла на меня вчера Надька? Чуетъ, подлая, что бросилъ онъ меня... И что нашелъ въ ней? Ерофѣевна, развѣ я хуже ея? Лгала твоя бабка, все налгала! Ужъ, какъ цѣловала я ее вчера, а сама думала: «Будь ты проклята, подлая!» Днемъ и ночью думаю я о ней, — а ей хоть бы что — цвѣтетъ пуще прежняго... Ерофѣевна, послушай... Теперь и впрямь свистятъ. Ерофѣевна, это онъ. Да бери же скорѣе ключъ, тамъ подъ подушкой!...

— Милый, любимый... Не уходи же ты такъ скоро... Двѣ недѣли не былъ у меня, а теперь бѣжишь, торопишься... Али не любишь меня больше?

— Ну, перестань... Сама знаешь, что люблю. А надо идти домой. Наденька завтра именинница, грѣхъ ее сердить... Приду въ другой разъ, голубушка...

— Да, Наденька, Наденька... Знаю, не любишь ты больше меня, любишь жену свою. А я ненавижу ее, ненавижу!... Ну что же, иди къ ней, не смѣй возвращаться никогда!... Ну, иди же!..

— Какая ты недобрая, Катерина... серьезно сказалъ онъ, — а я и не зналъ, что у тебя такіе злые глаза...

— Мои глаза — злые только для супротивниковъ... — повторила Катерина слова знахарки и добавила: — а для тебя они добрые и хорошіе... Ну, не уходи!.. Останься со мною... хоть немножко!...

— Неправду сказала ты мнѣ, бабка! Сказала — изведешь ее, а стало еще хуже, чѣмъ было. Не

любитъ меня больше милый, знать опоила его зельемъ жена, приколдовала къ себѣ... Или я мало дала тебѣ? У меня есть еще дорогой перстень. И его отдамъ — изведи ты только, порѣши мою разлучницу.

— Мало терпѣнія у тебя, дѣвушка. Ну, иди сюда, садись подлѣ Камалки — смотри въ воду. Судьбу увидишь, свою судьбу...

— Что видишь, дѣвушка?

— Богатый домъ. Много гостей, будто праздникъ. Домъ то, какъ будто, знакомый. Ну, конечно. Это загородный домъ Бочаровыхъ. А вотъ и старикъ Бочаровъ. И Ваня съ нимъ. А Надька-то, Надька какъ разрядилась... Въ пухъ и прахъ... И какъ ласковъ съ ней Ваня... А еще говоритъ, что не любитъ... Беретъ за руку, смотритъ въ глаза... Больно, бабушка, больно!

— Смотри! — властно приказываетъ старуха, — сама хотѣла видѣть.

— На лодкахъ, дяденька, Нилъ Семенычъ? Какой вы добрый... Это — подарокъ ко мню моихъ именинъ? Миленькій дядя, славный мой! Я поцѣлую дядю. Можно, Ваня?

— Ну, такъ и быть, можно — улыбается мужъ.

И, наклонившись къ Надиному ушку, шепчетъ ей что-то... Маковымъ цвѣтомъ заливается Надя.

— Къ лодкамъ, къ лодкамъ!

Шумной гурьбой валитъ вся компанія къ рѣкѣ. У пристани, качаясь на волнахъ, бѣлѣютъ три лодки, украшенныя цвѣтными фонариками.

— Какъ будетъ красиво, когда стемнѣетъ, — радуется, какъ ребенокъ, Надя. — Зажжемъ фонари...

— Сюда, Надежда, ко мнѣ... А вотъ мужа и не пустимъ, а что? Сегодня я ухаживаю за племянницей!..

Молодежь со смѣхомъ занимаетъ мѣста въ первой лодкѣ. Всѣ льнутъ къ весельчаку-дядѣ, особенно дѣвушки.

— Нѣтъ, вправду, садись лучше во вторую, Иванъ, а братъ Сергѣй пусть идетъ въ третью. Распорядиться надо будетъ. Корзины-то я уже велѣлъ поставить.

— Все въ порядкѣ, дядя.

— Ну, отваливай, съ Богомъ...

За рѣкой догораетъ полымемъ заря. Ровно всплескиваетъ вода, ручейками сбѣгая съ веселъ. Съ первой лодки несутся звуки разухабистой русской пѣсни. Что серебряный бубенчикъ, звенитъ, выдѣляясь изъ хора, голосокъ Нади.

— Не возитесь, ребята, — успокаиваетъ расходившуюся молодежь Нилъ Семеновичъ. — Ну, долго-ли до грѣха. Эхъ, правду сказалъ братъ, не слѣдовало бы брать съ собой вина. Да, слышь, что-ли, Андрюшка, перестань баловаться! Ну, чего сѣлъ на бортъ? Сойди, говорятъ тебѣ! Видишь, какъ лодка-то кренится. Андрюшка!...

Крикъ заглушаетъ слова дяди — крикъ, раздавшійся со второй лодки и подхваченный на третьей...

Крики, стоны, суетня...

Только двѣ лодки съ блѣдными, перепуганными людьми плывутъ по тихой глади засыпающей рѣки.

— Видѣла?

— Видѣла, — дрожа, какъ въ лихорадкѣ, отвѣчаетъ, словно очнувшаяся отъ страшнаго сна, Катерина. — Это такъ будетъ, бабушка?...

— Это такъ было. Нѣту у тебя больше, дѣвушка, злой супротивницы...

Счастливо, богато, на зависть всѣмъ живутъ молодые. Не чаетъ души въ своей Катеринѣ Иванъ, никогда не надѣявшійся стать ея мужемъ.

Много ласкъ даритъ онъ любимой женѣ, но не можетъ прогнать изъ глазъ ея тяжелую кручину, понять которой не можетъ никакъ. И никто не знаетъ, отчего такъ грустна порой Катерина... И только старая Ерофѣевна свято, какъ могила, хранитъ эту страшную тайну...

Часто, часто въ сумерки, когда мужъ не возвращался еще изъ Гостинаго двора, идетъ Катерина въ теплую горницу къ старушкѣ, и, сѣвъ на скамеечкѣ у ея ногъ, шепчетъ:

— Страшно... Ерофѣевна... страшно мнѣ... Мнѣ опять снилось, что иду я къ исповѣди... Почему всегда одинъ и тотъ же сонъ, Ерофѣевна? Батюшка—старый-престарый, а глаза строгіе, какъ у Николы-Чудотворца. Говорю ему, въ чемъ согрѣшила. А онъ смотритъ на меня и говоритъ:

— Не все сказала, Катерина... Былъ у тебя еще одинъ тяжкій грѣхъ...

Я же лгу, — а сама смотрю ему прямо въ глаза: «Нѣтъ, молъ, не было».

А батюшка отвѣчаетъ:

— Такъ не дамъ я тебѣ отпущенія, не дамъ, не дамъ...

Страшно мнѣ, Ерофѣевна... Страшно...

— Чей это заколоченный домъ?

— А это домъ купцовъ Бочаровыхъ, богатые купцы. Хорошіе люди. Богобоязненные, честные.

Да не даетъ Богъ счастья... Вотъ теперь Иванъ — хорошій человѣкъ, тихій, и за что, за какіе грѣхи Богъ наказалъ — одному Ему вѣдомо. Женился онъ на красавицѣ — и богата, и умна, и добра была... Года не прожилъ съ ней — утонула въ рѣкѣ, какъ разъ на свои именины...

Погоревалъ, погоревалъ, ну а потомъ женился на второй... Вѣстимо — человѣкъ молодой... Тоже была и красавица, и умница... Работница какая, рукодѣльница — какихъ воздуховъ для церкви ни вышивала... У насъ, у Николы-Чудотворца... Все, почитай — ея работа... Ужъ такъ дружно жили они, такъ хорошо... А вотъ — прожилъ съ ней года два — и отправилъ въ желтый домъ... И чего бы, кажется, ей — такъ ее любилъ Иванъ, что просто зависть брала смотрѣть...

А вотъ, рѣшила она, говорятъ люди, — будто виновна въ смерти Надежды, его первой жены. Кричитъ: «Это я убила ее... Я сжила ее со свѣта своими злыми глазами»...

А глаза ея, и впрямь, были злые-презлые, черные... блестящіе...

А сама злой не была — Царство ей Небесное...

Видно, крѣпко любила мужа то, не перенесла разлуки — сама себя порѣшила въ больницѣ...

Не убій.

Глафира Ивановна встала очень рано. Впрочемъ, она и ночью-то почти не спала — все боялась проспать.

Все въ комнатѣ было убрано еще съ вечера, но Глафира Ивановна все же находила себѣ дѣло: то вытретъ и безъ того блестящую крышку рояля, то обдернетъ бѣлоснѣжную занавѣску, то передвинетъ цвѣты.

Цвѣтовъ Глафира Ивановна наставила всюду: очень любитъ ихъ Валя.

Сестра должна была пріѣхать восьмичасовымъ поѣздомъ. Но онъ значительно опоздалъ: ночью на сороковой верстѣ отъ города были повреждены пути. И на станціи сказали, что не знаютъ даже приблизительно времени прихода поѣзда. Поэтому Глафира Ивановна рѣшила ждать сестру дома. Но ожиданіе было ужасно томительнымъ.

Она не видалась съ сестрой больше года. Послѣднее свиданіе длилось пять минутъ — тамъ, въ больницѣ.

Валя была единственнымъ дорогимъ Глафирѣ Ивановнѣ существомъ, единственной, къ кому была привязана ея старѣющая душа.

Старая дѣвушка сильно волновалась при мысли о свиданіи. Но къ радости примѣшивалось чувство гнетущаго безпокойства.

Есть же такіе кошмары, которыхъ не въ силахъ смыть никакія страданія, никакія раскаянія, никакіе запоздалые упреки совѣсти...

Нѣтъ, нѣтъ... Заняться чѣмъ-нибудь, чтобы не лѣзли въ голову непрошенныя воспоминанія!

Звонокъ...

Сердце старой дѣвушки забилось громко и часто, когда она рванулась къ двери. Валя стояла въ дверяхъ, въ своей короткой осенней кофточкѣ, фетровой шляпѣ съ чернымъ перомъ — въ томъ самомъ костюмѣ, въ которомъ видѣли ее два года назадъ въ Кіевѣ...

Только похудѣла она. Особенно исхудали ея красивыя руки, которыми, не безъ основанія, такъ гордилась молодая женщина.

— Глаша, ты не встрѣтила меня даже на вокзалѣ!

Это прозвучало укоризненно.

Глафира Ивановна, стоявшая минутку въ какомъ-то оцѣпенѣніи, рванулась къ сестрѣ и молча обняла ее. У обѣихъ показались слезы.

— У тебя нѣтъ багажа? — спросила Глафира Ивановна, и сейчасъ же почувствовала всю неловкость своего вопроса, когда сестра сказала:

— Откуда же...

— Я надѣюсь, ты покормишь меня — прибавила Валя, — я не успѣла позавтракать на вокзалѣ.

— Да чего же я стою! — засуетилась Глафира Ивановна, — вѣдь у меня все давно готово... Самоваръ кипитъ уже больше часу... Подкладываю угольки... Давай чемоданчикъ — снесу въ твою комнату... Идемъ въ столовую... Или ты сначала пройдешь къ себѣ — умыться съ дороги? Тамъ, въ твоей комнатѣ...

— Моя комната, — протянула Валя, отворяя дверь, — какъ давно не была я здѣсь... Сколько лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, Глаша?... Я вышла замужъ четыре года назадъ...

Валя остановилась на порогѣ свѣтленькой комнаты, залитой утреннимъ солнцемъ, и долго-долго смотрѣла на знакомую обстановку. Потомъ прислонилась къ косяку и какъ-то такъ сразу беззвучно заплакала.

— Валя, успокойся, — мягко дотронулась до ея плеча сестра.

— Это сейчасъ пройдетъ... Я давно не плакала...

Валя вытерла глаза.

— «Тамъ» я не плакала никогда... Даже не вспоминала. А вотъ — увидѣла свою комнату — и воскресло все... Вѣдь это все было сномъ, мучительнымъ сномъ? Ну, скажи мнѣ, что я никуда не уѣзжала, что никогда не была замужемъ, что зовутъ меня — Валя Крутилова!...

Она говорила нервно, какъ говорятъ люди, которымъ долго не съ кѣмъ было перемолвиться словомъ. Можетъ быть, чуть-чуть театрально...

— Успокойся, милая, — тихо сказала старшая сестра, — конечно, все — сонъ, все пройдетъ.. Вѣдь и вся наша жизнь — сонъ...

Грустная улыбка промелькнула по лицу Вали.

— Хорошо тому, кто можетъ себя утѣшать вѣрой...

— А ты развѣ не вѣришь?

Сердце старой дѣвушки екнуло.

— Не знаю... Ты думаешь: здѣсь — сонъ, а тамъ наступитъ пробужденіе? А я вотъ думаю — тамъ сонъ, вѣчный сонъ... Да, впрочемъ, не все-ли равно, что будетъ тамъ... Мнѣ хочется жить, Глаша! Развѣ не достаточно страдала я эти годы? Я молода, я хочу жить, наверстать все, что потеря-

ла... Жить хочется, Глаша... Мнѣ двадцать пять лѣтъ... И молодость пройдетъ такъ скоро-скоро...

Уставшая съ дороги Валя давно уже спала. Глафира Ивановна сидѣла на своей кровати, и думала, думала...

Ей все еще не вѣрилось, что Валя, которую она считала навѣки потерянной, что Валя опять съ ней... Но какое-то гнетущее чувство отравляло эту радость.

Глафира Ивановна ожидала увидѣть постарѣвшую, осунувшуюся женщину, съ признаками страданія на лицѣ. А увидѣла — прежнюю Валю. Правда, слегка похудѣвшую и поблѣднѣвшую, но попрежнему кокетливую и живую.

Смотрѣла на ея холеныя руки, аппетитно намазывавшія хлѣбъ, и не могла отдѣлаться отъ мысли:

— А вѣдь руки эти зарѣзали человѣка!...

— Валя — убійца — мысль, съ которой не могла, вотъ уже два года, освоиться Глафира Ивановна.

И въ мигъ свиданія съ сестрой мысль эта заработала съ новой силой...

...Глафира Ивановна была противъ брака сестры, Зная ея капризный и себялюбивый характеръ, она болѣла душой за судьбу Вали. И притомъ, Валинъ женихъ, Каменскій, внушалъ ей какое-то непріятное чувство.

Не такого мужа желала она любимой сестрѣ: ей нуженъ былъ спокойный, уравновѣшенный человѣкъ, способный обуздать ея, любящую крайности, натуру. Но Каменскій — онъ производилъ впе-

чатлѣніе очень легкомысленнаго человѣка — и молодъ. Всего на три года старше Вали.

Глафира Ивановна взялась за неблагодарную задачу — убѣдить Валю въ ошибочности ея выбора. И добилась только того, что между сестрами пробѣжала первая тѣнь.

Но когда она стала получать отъ Вали короткія, но дышавшія восторгомъ перваго счастья письма — она бранила себя старой идіоткой.

— Вѣдь Валя счастлива, а я хотѣла помѣшать ея счастью!...

Но сердце старой дѣвушки не вѣрило въ его прочность...

Такъ прошло около двухъ лѣтъ. А потомъ въ Валиныхъ письмахъ зазвучали новыя нотки. Ничего опредѣленнаго, но именно эта недоговоренность, неясность и стала безпокоить Глафиру Ивановну. Порывалась поѣхать въ Кіевъ сама, но все мѣшали дѣла: она была начальницей гимназіи.

Наконецъ, воспользовалась лѣтними вакаціями и отправилась къ сестрѣ.

Всего два года не видѣлись сестры, но Валино замужество, новая жизнь, новые люди, — все это поселило между ними какой-то холодокъ.

Глафира Ивановна видѣла, что Валя страдаетъ, но она замкнулась въ себѣ, хранила упорно полное молчаніе о своихъ переживаніяхъ.

Помогъ случай. Какъ-то, войдя невзначай въ переднюю, Глафира Ивановна увидѣла сестру, прильнувшую ухомъ къ замочной скважинѣ. По-видимому, та подслушивала разговоръ на лѣстницѣ. Глафиру Ивановну испугало выраженіе ея лица — чужое, злое.

— Валя!

— Уйди, — прошептала та, — уйди!...

Глафира Ивановна пожала плечами и ушла къ себѣ. Но не успѣла закрыть за собой двери, какъ раздался звонокъ, и въ передней послышались громкіе голоса.

— Опять, опять ты былъ съ нею!— говорилъ чужой голосъ, такъ мало напоминавшій мелодичный Валинъ голосокъ.

— Случайность, — лѣниво оправдывался мужъ.

— Не лги! Я слышала часть вашего разговора...

Теперь Глафира Ивановна вспомнила, какъ раздражительно отзывалась Валя о жившей этажомъ выше опереточной пѣвицѣ, которая своимъ вѣчнымъ пѣніемъ «дѣйствовала ей на нервы». Говорила, что будетъ искать новую квартиру, какъ только кончится срокъ контракта. И все снова и снова возвращалась къ этому вопросу.

Глафирѣ Ивановнѣ стало все ясно.

Боже, какъ безнадежно пошлой была вся эта исторія...

Но Валя, бѣдная Валя...

Прошелъ іюль. Половина августа. Глафира Ивановна все сидѣла въ Кіевѣ, не рѣшаясь оставить сестру, все больше и больше углублявшуюся въ свои переживанія. Валино состояніе страшно безпокоило...

Въ концѣ августа, когда кончился контрактъ, Глафира Ивановна уговорила Каменскаго перемѣнить квартиру. Переѣхали въ совсѣмъ другую часть города.

И Валя замѣтно оживилась.

Но перемѣна была ненадолго. Однажды Валя пришла домой вечеромъ, очень разстроенная и возбужденная. Прошла прямо къ себѣ, легла.

Ночью у нея поднялась температура, сдѣлался бредъ. Хотѣла послать за докторомъ. Валя капризничала и не позволяла.

Она не вставала весь слѣдующій день. А когда въ комнату входилъ мужъ — сестра замѣтила это — притворялась спящей.

Около восьми часовъ вечера Глафира Ивановна вошла къ сестрѣ, и страшно удивилась. Валя стояла, совершено одѣтая, передъ зеркаломъ и прикалывала шапочку.

— Господь съ тобой, куда ты?... Маршъ обратно въ постель!

— Мнѣ надо идти! — твердо отвѣтила Валя.

— Куда ты пойдешь, вѣдь ты совсѣмъ больна!

— Физически я не больна, Глаша... Это все оттого, что я вчера узнала... И я должна убѣдиться... Сегодня — или никогда... Понимаешь: сегодня или никогда.

Валинъ голосъ дрожалъ. Глаза блестѣли. Слова были похожи на бредъ.

— Я тебя не пущу! — сказала сестра.

— Пустишь! Ты не смѣешь меня держать, не смѣешь!

Въ Валиномъ голосѣ прозвучали истерическія нотки.

— Я должна, наконецъ, знать все. Я знаю, что они сегодня встрѣтятся. Онъ и сейчасъ у нея.

— Да, можетъ быть, ты ошибаешься, и мужъ вовсе не измѣняетъ тебѣ?

Глафира Ивановна въ первый разъ назвала вещи своими именами.

— Не измѣняетъ! — истерически засмѣялась Валя. — Да онъ измѣнялъ мнѣ съ перваго же мѣсяца послѣ свадьбы! Ахъ, ты этого не знала? Ты была такъ наивна? Ну, не всѣ были такъ наивны, какъ ты... Ну, а теперь пусти, — я должна быть тамъ!...

Какъ горько упрекала себя всѣ эти годы Глафира Ивановна, что не сумѣла удержать сестры въ этотъ роковой вечеръ...

...— Я не хотѣла его убить, — говорила на судѣ Валя, — я вообще не помню, какъ все это произошло...

Осталось въ памяти, какъ я отпирала дверь своимъ ключомъ. Домъ былъ построенъ по старому, ключи у всѣхъ квартиръ почти одинаковые... Я случайно сохранила ключъ отъ нашей прежней квартиры... Онъ подошелъ...

Помню: прокралась по коридору до послѣдней комнаты... Спальни... Тамъ я увидѣла ихъ...

А потомъ былъ туманъ... туманъ... Я очнулась, увидѣвши кровь... И когда она кричала....

Въ рукахъ у меня былъ ножъ... Но откуда я взяла его — не знаю...

Больше полугода длилось предварительное заключеніе. Потомъ еще долго продержали Валю на испытаніи въ психіатрической лечебницѣ.

Затѣмъ было судебное разбирательство. Глафира Ивановна пріѣхать не могла. «Та» осталась жива и выступала на судѣ свидѣтельницей... И это было для Вали тяжелѣе всего...

Газеты раздували процессъ въ сенсацію. «Изъ ревности зарѣзала мужа» — аршинными буквами писали онѣ въ заголовкахъ...

Судъ Валю оправдалъ, какъ совершившую преступленіе подъ вліяніемъ аффекта.

Да, судьи оправдали ее.

Ну, а совѣсть?

— Развѣ совѣсть не зоветъ ее властно на судъ? — думала Глафира Ивановна, ворочаясь на своей узкой постели. — Неужели она можетъ жить, какъ всѣ, быть беззаботной, веселой, «пользоваться жизнью», — какъ говорила она сейчасъ? Неужели можно вычеркнуть изъ жизни эту черную страницу, словно ея вовсе и не было?

Глафира Ивановна опустила на подушку свою сѣдѣющую голову, и глубоко задумалась о судьбѣ единственнаго близкаго ей существа, казавшейся ей загадочной и скорбной...

Изъ записокъ убійцы.

...Сквозь рѣшетку окна вижу клочекъ голубого неба. Я люблю смотрѣть на него долго-долго...

Когда я такъ смотрю, мнѣ вспоминаются юношескіе годы, когда вся жизнь казалась такой же свѣтлой и чистой, какъ это небо...

Боже, какъ давно это было...

А вѣдь мнѣ только двадцать восемь лѣтъ...

Я безумно люблю свободу. Меня гнетутъ эти мрачныя стѣны, давятъ тяжелыя рѣшетки окна.

Въ простѣнкѣ между домовъ — калитка. По воскресеньямъ и четвергамъ, отъ двѣнадцати до двухъ — пріемъ. Тогда она поминутно открывается, пропуская посѣтителей. Тогда я вижу мелькомъ улицу и прохожихъ.

Какъ ненавижу я ихъ, и какъ завидую я имъ: они свободны!...

Что-же — это ихъ право. Они достойные члены человѣческаго общества, порядочные люди.

А я — убійца...

Да, убійца. Обвиняюсь въ хладнокровномъ, обдуманномъ убійствѣ.

Каторга...

А судьи, которые приговорятъ меня, не сдѣлали бы они на моемъ мѣстѣ того же самого?

А впрочемъ, можетъ быть, и нѣтъ. Вѣдь люди трусливы.

Раскаиваюсь ли я въ своемъ преступленіи?

Не знаю.

Есть, правда, какое-то непріятное чувство, но я не нашелъ еще ему опредѣленнаго названія.

Боль разлуки съ Клавдіей гораздо сильнѣе этого чувства.

Вѣдь я люблю ее, люблю!...

Ни одна женщина въ мірѣ не дала мнѣ столько счастья, какъ Клавдія. Ни одна женщина не причинила мнѣ столько страданій, какъ она...

Клавдія никогда не любила своего мужа. Она уважала въ немъ честнаго, хорошаго человѣка, и была привязана къ нему, какъ къ старшему брату.

Онъ былъ не плохой человѣкъ. Но... я не видалъ въ жизни никогда такой тряпки, какъ Ивлевъ!...

И такому человѣку считала она нужнымъ хранить вѣрность!...

Я знаю, что былъ первымъ, съ кѣмъ она измѣнила мужу.

И знаю, чего это ей стоило.

Мужъ ея, врачъ, былъ на войнѣ. Дѣти гостили у бабушки. Безмятежно протекали наши медовые мѣсяцы.

Потомъ дѣти вернулись. Тутъ пробѣжала между нами первая тѣнь. Я сталъ ревновать Клавдію къ нимъ. Вѣдь они отнимали у меня часть ея любви, которая должна была принадлежать мнѣ одному!

Дѣти не любили меня. Инстинктивно чувствовали во мнѣ врага.

По природѣ я вовсе не золъ. Но никогда въ жизни и ни къ кому у меня не было такой ненависти, какъ къ бѣлокурой трехлѣтней Лидочкѣ и капризному Костѣ — вылитому портрету отца...

Они были моими главными врагами... Они — а не мужъ!...

Потому что, не будь ихъ...

Сколько разъ умолялъ я, между бѣшеныхъ ласкъ, Клавдію:

— Брось его, иди ко мнѣ!..

Но неизмѣнно она отвѣчала:

— А дѣти? Не будь ихъ, я давно разошлась бы съ мужемъ...

Не будь ихъ...

Ревнивое воображеніе часто издѣвалось надо мною.

— А если вернется твой мужъ, Клавдія, ты не измѣнишь мнѣ?

Она наивно удивлялась:

— Да, вѣдь, онъ же — мой мужъ!

Женщины, женщины... Странная у васъ логика! Мужъ — значитъ, надо принадлежать ему, хотя бы и нелюбимому, хотя бы и чужому...

О, если бы онъ никогда не возвращался!...

Война... Мало ли что можетъ случиться?..

Пока онъ живъ — это я понялъ — Клавдія ко мнѣ не придетъ. Въ ней было двѣ женщины. Мать, горячо привязанная къ своимъ дѣтямъ, и любовница — беззавѣтно любившая меня.

А у меня была только одна жизнь. И жизнь эта принадлежала ей, Клавдіи.

Зачѣмъ вернулся Ивлевъ?

Контуженный, онъ пріѣхалъ на поправку. Теперь Клавдіи приходилось дѣлить свою жизнь между мной и домомъ. И мнѣ часто доставались одни урывки...

Она вѣчно торопилась, безпокоилась, боялась. Ей приходилось обманывать и лгать, что претило ея честной натурѣ.

Мужъ не былъ ревнивъ и слѣпо вѣрилъ Клавдіи. И это мучило ее еще больше...

Сколько разъ звонила она мнѣ по телефону, обѣщая придти вечеромъ.

Я отдѣлывался отъ надоѣдливыхъ посѣтителей, отпускалъ прислугу и часами жадно прислушивался къ хлопанью нижнихъ дверей.

Ждалъ долго, томительно. Текли минуты, часы. Она не приходила.

Работать въ эти вечера я не могъ. Ходилъ изъ угла въ уголъ, и темныя мысли роились въ моей головѣ.

Должно быть, въ одинъ изъ такихъ вечеровъ родилась въ моемъ мозгу мысль:

— Убей...

Сначала я гналъ ее. Но, когда ревнивое воображеніе рисовало мнѣ мучительныя картины — я сталъ черпать въ этой мысли утѣшеніе.

Я избѣгалъ бывать у Ивлевыхъ. Я не принадлежу къ тѣмъ порядочнымъ людямъ, которые могутъ жать вашу руку, заботливо освѣдомляясь о вашемъ здоровьѣ, быть вашимъ повѣреннымъ во всѣхъ дѣлахъ — и любовникомъ вашей жены...

Если Ивлевъ, не стѣсняясь меня, какъ своего человѣка, цѣловалъ жену въ лобъ — дикая злоба овладѣвала моей душой.

Во мнѣ просыпался какой-то первобытный дикарь. Хотѣлось броситься къ нему, сдавить его горло, крикнуть:

— Мое!

Въ рѣдкія минуты, когда Клавдія бывала со мной, я спрашивалъ ее въ какомъ-то лихорадочномъ бреду:

— Клавдія, ты не измѣнила мнѣ?

Она смотрѣла мнѣ въ глаза своимъ честнымъ, открытымъ взглядомъ и отвѣчала:

— Нѣтъ.

И я зналъ, что Клавдія не лжетъ...

Ея глаза сказали мнѣ все, когда вошла она ко мнѣ дождливымъ сентябрьскимъ вечеромъ.

И въ этихъ сѣрыхъ глазахъ, полныхъ слезъ, прочелъ я то же, что говорили когда-то ея губы:

— Вѣдь онъ же — мой мужъ!

Я хотѣлъ оттолкнуть ее отъ себя! Но вѣдь, я безумно любилъ эту женщину. Какъ могъ я теперь ласкать это тѣло, которое еще вчера ласкалъ другой?! Другой, который воображаетъ, что имѣетъ на это какое-то право...

Нѣтъ въ мірѣ иного права, кромѣ права любви...

И этого права я не уступлю!...

Я оставилъ Клавдію рыдающей и пошелъ къ нему. По дорогѣ обдумывалъ я всѣ детали. Былъ холоденъ и спокоенъ, самъ удивляясь своей выдержкѣ.

Была-ли это жалость — чувство, что промелькнуло у меня, когда Ивлевъ открылъ мнѣ дверь и, протягивая руку, проговорилъ:

— Какъ я радъ, какъ я радъ, голубчикъ!... А Клавы нѣту дома. Я совсѣмъ одинъ...

Или я, или онъ...

А не оба...

Говорятъ, убійцѣ всюду мерещится картина преступленія.

Неправда.

Воспоминаніе объ этомъ вечерѣ безпокоитъ меня не больше, чѣмъ какой нибудь кошмаръ, видѣнный ночью.

Раскаиваюсь ли я? — Повторяю: не знаю.

Я поступилъ неумно, это правда: Клавдія не хочетъ видѣть убійцы...

А вѣдь я хотѣлъ освободить ее!..

Да вотъ, не сумѣлъ схоронить концовъ въ воду. Выдержки не хватило — не профессіоналъ...

Клавдія боится встрѣтиться со мной.

А вѣдь я люблю ее, люблю...

Знаетъ ли она, какое это ужасное чувство: неудовлетворенная страсть, распаляемая жгучими воспоминаніями?

Въ такія минуты у меня является неестественная сила... Мнѣ кажется, я могъ бы сломать эти желѣзки, высадить плечомъ дверь. Я начинаю стучать, кричать. Но они привыкли къ этому... Да и стѣны толсты и сквозь нихъ только глухо проходитъ звукъ.

Мнѣ все кажется, что она придетъ еще, придетъ...

Она не можетъ не притти!..

Она должна понять!..

Сегодня я получилъ отъ Клавдіи письмо. Пишетъ, что уѣзжаетъ къ матери и увозитъ дѣтей. Значитъ, ей дѣти дороже любовника...

Пишетъ:

— «Я могу только молиться за тебя...»

Какъ будто кому нибудь тамъ нужны ея молитвы...

...Ну, что же... послѣзавтра судъ... Осудятъ, сошлютъ въ безсрочную каторгу — и добродѣтель восторжествуетъ...

...Ну, нѣтъ, на каторгу я не пойду... Мнѣ довольно и этихъ шести мѣсяцевъ, что провелъ я за рѣшеткой...

Я безумно люблю солнце, свободу...

Что же... я сумѣю освободиться...

Надзиратель глупъ... Я писалъ, писалъ все утро... Когда онъ вошелъ ко мнѣ, смѣняясь въ полдень, я попросилъ его очинить мнѣ карандашъ. Онъ далъ мнѣ ножикъ... Да такъ и забылъ его... А ножъ — только что отточенный... Тонкое, острое лезвіе, на которомъ играетъ лучъ вечерняго солнца — единственный, что проникаетъ ко мнѣ въ камеру...

. . . .

Какъ хорошо мнѣ теперь, какъ хорошо...

Клавдія...

Тридцать лѣтъ.

Вечерѣло. Въ дачныя окна смотрѣли голубыя майскія сумерки.

Агнія Андреевна убрала чайную посуду и подсѣла къ мужу, сидѣвшему у раскрытаго окна.

— Хорошо, — сказала она.

— Да, хорошо, — отвѣтилъ онъ.

Помолчали.

— Лѣтъ двадцать тому назадъ ты бы сказала это иначе, — проговорилъ Осипъ Петровичъ, словно отвѣчая на какую-то свою мысль.

— Лѣтъ двадцать...

Что-то странное промель кнуло въ глазахъ Агніи Андреевны.

Сумерки сгущались. Вѣтеръ принесъ дальній звукъ пастушьяго рожка и мычаніе стада.

— Что можетъ быть лучше покоя! — сказалъ онъ.

— Покой — смерть, — грустно возразила она.

— Ошибаешься. Не всегда. Покой — источникъ творчества. Развѣ за окномъ — смерть? Послушай и посмотри.

— Кажущійся покой, да?

— Да, относительный. Мы съ тобою тоже пребываемъ въ покоѣ. И сознайся, развѣ этотъ покой не лучше тѣхъ бурь, которыя мы переживали лѣтъ двадцать-тридцать тому назадъ?

Она не отвѣтила, сосредоточенно глядя въ окно.

— Теперь мы живемъ созерцательной жизнью, созерцаемъ наше прошлое, его ошибки и радости.

— Прошлое...

Въ голосѣ пятидесятилѣтней проскользнула какая-то молодая нотка.

— Въ такіе вечера всегда приходятъ воспоминанія... Кажется, что живешь снова.

— Не дѣлайся сентиментальной, — зѣвнулъ Осипъ Петровичъ. — Я этого не могъ терпѣть даже въ наши медовые мѣсяцы...

— Они были коротки...

— Да. Потому что ты была несносной. Одна твоя нелѣпая ревность чего стоила.

— Но сознайся, что не всегда она была безъ почвы.

— Ну... не всегда... Теперь прошло уже тридцать лѣтъ... И она давно умерла...

— Ты говоришь о моей сестрѣ Нютѣ, къ которой я такъ ревновала тебя въ первые мѣсяцы своего замужества? Скажи, между вами было что нибудь?

— Было. Она была очень интересной любовницей... И остротѣ ощущеній помогало, что все происходило почти на твоихъ глазахъ...

— Но ты такъ отрицалъ!

— Я же не сумасшедшій... Вѣдь ты была способна меня убить!..

— А она? Она клялась мнѣ, что чиста передо мной...

— Нютѣ ничего не стоило поклясться...

— Ну, довольно о ней. Не надо тревожить мертвыхъ. Ну, а та гувернантка сосѣдей, всякую близость съ которой ты отрицалъ со смѣхомъ? Она тоже была твоей любовницей?

— Жанетта? — Была.

— А вдовушка Томина? А учительница Петрова? А наша жилица Бравина?

— Какъ ты помнишь имена... Я давно перезабылъ ихъ...

— Но онѣ были твоими любовницами? Всѣ?

— Были...

Старикъ зѣвнулъ.

— Вотъ, когда выходитъ все наружу, — силясь улыбнуться, сказала Агнія Андреевна. Но получилась только гримаса.

— Послушай... — прибавила она другимъ тономъ, — развѣ ты меня никогда не любилъ?

— Какъ тебѣ сказать... Любилъ, конечно... Но ты мнѣ очень надоѣдала своей ревностью. И любовь твоя порой бывала приторной. Но, въ общемъ, я чувствовалъ, что лучшей жены, чѣмъ ты, мнѣ не найти. Вотъ почему я и не разошелся съ тобою. Я зналъ: придетъ время, ты перегоришь, и вотъ будетъ такой покой...

— Покой...

Агнія Андреевна высунулась въ окно. Было темно. Бѣлая ночь пугала грозой.

— Пора и спать, — сказалъ Осипъ Петровичъ. — Да закрой окно, — что-то прохладно...

Въ уютной спальнѣ передъ образами теплилась красная лампадка.

Осипъ Петровичъ давно уже спалъ, заливаясь мелкимъ, довольнымъ храпомъ. Агнія Андреевна сидѣла въ столовой у окна — не закрыла его — и глядѣла тупо въ темноту.

Въ эту ночь передъ глазами старой женщины снова проходила вся жизнь. Проходила подъ новымъ угломъ.

Тридцать лѣтъ съ нимъ...

До него не было ничего — одна пустота. Онъ далъ содержаніе ея жизни, породилъ въ душѣ ея новый, невѣдомый дотолѣ культъ — культъ любви.

Онъ былъ ея кумиромъ, богомъ, всѣмъ...

Тридцать лѣтъ — только для него.

Тридцать лѣтъ...

И начинала успокаиваться старѣющая душа, и, чѣмъ дальше отходила молодость, тѣмъ больше стушевывались кошмары прошлаго. Оставалась только благодарность судьбѣ, давшей такой подарокъ, какъ его любовь, какъ жизнь съ нимъ...

Еще сегодня утромъ, наслаждаясь весеннимъ тепломъ, думала Агнія Андреевна о томъ, сколько свѣтлаго было въ ея жизни...

И вдругъ — нѣсколько словъ — и картина прошлаго разлетѣлась, какъ миражъ...

Вся жизнь — обманъ.

Вся жизнь — ложь.

И любовь, притворявшаяся тридцать лѣтъ — тоже Фата-Моргана...

— Покой, — говоритъ лицемѣръ.

Если бы онъ зналъ, какой покой кипитъ въ душѣ сѣдой женщины съ сердцемъ двадцатилѣтней!..

Лгать три десятка лѣтъ...

И не узнать за это время ея души!

Агнія Андреевна вошла въ спальню.

Красная лампадка мягко освѣщала обстановку — такъ давно знакомую, ту же самую, какъ всегда и все-таки — такую чужую сегодня... Лампадка горѣла сегодня какъ-то тревожно... Колебалось пламя. Мигало.

Да, все, какъ было... Только онъ... Тогда молодой, сильный... И лживый... Теперь сѣдой, въ морщинахъ — теперь онъ не лжетъ...

Почему?

Трусъ онъ былъ тогда, трусъ!

Не ради нея, — ради своего возлюбленнаго покоя лгалъ онъ столько лѣтъ!

— «Ты могла меня убить тогда»...

— А теперь не могу?

Агнія Андреевна остановилась у кровати спящаго. Но не старика, сѣдого и хилаго, видѣли ея глаза.

Всѣ оскорбленія, всѣ измѣны, вся кошмарная боль прошли снова въ ея душѣ.

И присталенъ былъ взглядъ ея черныхъ, совсѣмъ не старческихъ глазъ...

Спящій почувствовалъ это и проснулся.

— Ты что? Я испугался.

— Испугался? — рѣзкій, жуткій смѣхъ прозвучалъ въ комнатѣ и отдался по саду.

— Ты что? — повторилъ онъ, приподнимаясь въ постели.

Но двѣ костлявыхъ руки схватили его и повалили назадъ.

— Любишь покой, да? Ради собственнаго покоя могъ притворяться всю жизнь? Покою хочешь, покою?..

Безумные жестокіе глаза, — глаза карающей Немезиды, — смотрѣли прямо въ душу Осипа Петровича.

А цѣпкія руки, обвившіяся вокругъ его шеи, сжимали его сильнѣй и сильнѣй.

. . . .

Онъ больше не дышалъ. Руки отпустили его.

— Всю жизнь... — простонала Агнія Андреевна, опускаясь на колѣни около кровати.

Силы, взявшіяся невѣдомо какъ, оставили слабую женщину. Больное старое сердце не выдержало волненій дня.

Остановилось.

Яркая зигзага прорѣзала синеву и освѣтила мирную спальню.

Мигнула красная лампадка, освѣтивъ строгій ликъ Дѣвы въ углу...

Загрохоталъ весенній, недовольный чѣмъ-то громъ.

Благоуханная, благодатная весенняя ночь разразилась бѣшеной грозою...

Месть.

Это произошло такъ.

Прапорщикъ Ивановъ сидѣлъ въ кондитерской и аппетитно снималъ съ кофе сбитыя сливки, когда къ сосѣднему столику подошелъ красивый мужчина, лѣтъ сорока, громко отодвинулъ стулъ и подозвалъ кельнершу.

Прапорщикъ мелькомъ взглянулъ на новаго сосѣда и продолжалъ ѣсть. Но, почувствовавъ, что на него смотрятъ, поднялъ глаза и встрѣтился взглядомъ съ незнакомцемъ. Тотъ пристально смотрѣлъ на прапорщика своими холодными сѣрыми глазами.

Это вниманіе посторонняго человѣка было прапорщику непріятно. Онъ провелъ рукой по волосамъ, потрогалъ пуговицы — кажется, все въ порядкѣ. Покосился въ стѣнное зеркало. На него глянуло безцвѣтное, маловыразительное лицо.

Незнакомецъ продолжалъ фиксировать Иванова взглядомъ.

— Что ему нужно? — съ досадой подумалъ прапорщикъ.

Знать его незнакомецъ не могъ: Н-скій полкъ стоялъ въ городѣ всего двѣ недѣли и знакомствъ у Иванова пока не было.

Да онъ и не хотѣлъ ни съ кѣмъ знакомиться: по странному капризу судьбы, Ивановъ былъ переведенъ въ тотъ городъ, гдѣ жила его невѣста, съ которой онъ не видѣлся со дня призыва.

Теперь онъ каждую свободную минуту посвящалъ любимой дѣвушкѣ. Ивановъ ждалъ ее и сейчасъ.

— Какой, все-таки, непріятный господинъ...

Внезапно мысль о сосѣдѣ отлетѣла куда-то въ безконечность, и по лицу прапорщика разлилось выраженіе молодой, свѣтлой радости. Въ дверь входила хорошенькая шатенка въ элегантномъ синемъ костюмѣ.

Ивановъ вскочилъ навстрѣчу невѣстѣ, и, быстрымъ движеніемъ, задѣлъ стулъ непріятнаго сосѣда, такъ что шляпа и палка упали на полъ.

— Пардонъ! — сказалъ онъ, поднимая упавшія вещи.

Но господинъ поднялся съ мѣста и отчетливо произнесъ:

— Хамъ!

— Позвольте... вѣдь я же извинился? — оторопѣлъ Ивановъ.

— Хамъ и наглецъ! — громко, на всю публику, сказалъ господинъ.

Сидѣвшіе за столиками стали оборачиваться. Кельнерши зашушукались. Хозяинъ завозился за прилавкомъ. Дѣвушка растерянно смотрѣла на жениха. Видно было, что она готова расплакаться.

— Я требую удовлетворенія! — сказалъ шаблонную фразу, весь красный, Ивановъ.

Незнакомецъ бросилъ на столъ свою карточку, на которой прапорщикъ прочелъ:

Сергѣй Петровичъ Синельниковъ.
Гостиница «Парижъ», комната № 12.

Фамилія, какъ и лицо господина, были Иванову совершенно незнакомы.

Дуэль состоялась на другой день въ заброшенномъ паркѣ барона фонъ-Д., въ трехъ верстахъ отъ

города. Баронъ не жилъ здѣсь уже восемь лѣтъ и паркъ сталъ давно любимымъ мѣстомъ прогулки молодежи.

Теперь, осенью, тамъ было пустынно.

Ивановъ со своимъ секундантомъ явился первымъ. Ходилъ по шуршавшему ковру вялой листвы, ежился отъ холода и думалъ о безсмысленности человѣческой жизни.

— Ну, обругалъ меня какой - то посторонній человѣкъ, котораго я и не видалъ никогда, а теперь еще, можетъ быть, и убьетъ. Непремѣнно убьетъ. Да за что же?

Вольно бы — убили въ бою — ну, тамъ знаешь, за что рисковалъ жизнью... А тутъ... — Изъза какого-то слова... Что такое слово? Да развѣ стоятъ всѣ слова міра одной человѣческой жизни? Развѣ слово, само по себѣ, имѣетъ какое нибудь значеніе?

Ну, убьетъ меня... Можетъ быть, такъ мнѣ и надо. Ну, а другія-то за что страдать будутъ? — Мама, Таня...

Воспоминаніе о далекой матери и любимой невѣстѣ наполнило душу прапорщика щемящей грустью. Кругомъ было тихо. Шелестѣли подъ ногами сухіе желтые листья. Какъ нарисованныя, стояли на фонѣ блѣдно-голубого неба полуоголенныя березы, роняя при каждомъ движеніи отдѣльные листки. Въ паркѣ царилъ осенній покой, но въ этомъ покоѣ не было смерти. Онъ говорилъ о вѣчности.

И такъ хотѣлось жить!

У воротъ парка загремѣли колеса. Это подъѣхалъ со своимъ секундантомъ Синельниковъ. Пока секунданты сговаривались и отмѣряли шаги, противникъ курилъ, прислонившись къ березѣ.

И въ добродушномъ сердцѣ Иванова вспыхнула вдругъ глубочайшая ненависть къ этому чужому человѣку, однимъ выстрѣломъ намѣревавшемуся разрушить жизнь трехъ людей.

Прапорщику, какъ оскорбленной сторонѣ, принадлежалъ первый выстрѣлъ.

Рука, направленная злобой, цѣлилась мѣтко: противникъ былъ убитъ наповалъ...

Скверно было на душѣ Иванова, когда онъ покидалъ паркъ.

— Ну, вотъ, убилъ ни за что, ни про что чужого человѣка... А впрочемъ, не убей я его — самъ лежалъ бы теперь убитымъ... Онъ, видимо, на это разсчитывалъ...

Было гадко, безпокоила мысль, что ожидаютъ непріятности по полку... Глупая исторія...

— Одну минутку, — окликнулъ его секундантъ Синельникова, выскакивая изъ пролетки, куда уложили убитаго, — вотъ, онъ просилъ вамъ передать въ случаѣ его смерти.

Ивановъ съ удивленіемъ взялъ въ руки объемистый пакетъ, и спросилъ:

— Вы хорошо знали покойнаго? Онъ былъ что за человѣкъ?

— Мы познакомились съ нимъ въ вагонѣ. Ѣхали вмѣстѣ отъ самаго Петрограда. Остановились въ одной гостиницѣ. Я не считалъ себѣ вправѣ отказать ему. У него въ городѣ нѣтъ никого знакомыхъ...

— Вы понимаете, я никогда не видѣлъ его, до вчерашняго дня, — словно оправдывался Ивановъ, — онъ самъ вызвалъ скандалъ. Я не знаю, что я ему сдѣлалъ... Чужой мнѣ совершенно...

— Можетъ быть, вы найдете разгадку тамъ, — отвѣтилъ секундантъ, и приподнялъ, прощаясь шляпу.

Поздно вечеромъ — изъ парка надо же было заѣхать къ Танѣ, не находившей мѣста отъ волненія, — прапорщикъ вскрылъ письмо.

— «Дуэль — это лотерея, — начиналось оно,— никогда не скажешь напередъ, кто будетъ въ выигрышѣ...

Если я васъ убью — я буду отомщенъ. Если ваша пуля прикончитъ мое существованіе, — я обязанъ дать вамъ отчетъ въ моемъ странномъ, — на вашъ взглядъ, — поступкѣ.

Я видѣлъ васъ вчера съ женщиной. Я наблюдалъ ваше лицо, когда вы бросились къ ней: вы ее любите...

А если любите — то поймете меня.

Мы съ вами не женщины, чтобы распространяться о чувствахъ.

Скажу одно: я любилъ, безумно любилъ. Правда, всю силу моего чувства понялъ я, когда ея не стало.

Вы не знаете меня. Но вы, навѣрное, слышали мою фамилію. Не ту, которую вы прочли на карточкѣ. А ту, подъ которой меня знаетъ вся Россія!

Я — Гальчинскій. Да, тотъ самый теноръ Гальчинскій, объ успѣхахъ котораго кричатъ всѣ газеты...

Я не знаю, правы ли критики, подлинно ли такъ великъ мой талантъ. Но я чувствовалъ въ себѣ искру Божію...

Талантъ и красота (многія находили, что я красивъ) привлекали ко мнѣ съ юношескихъ лѣтъ вниманіе прекраснаго пола. Неудивительно, что я сталъ брать легкомысленно отъ жизни одни наслажденія, сдѣлался тщеславенъ и себялюбивъ...

Я не считаю нужнымъ разсказывать вамъ, какъ познакомился я съ Вѣрой. Съ этой женщиной вошла въ мутную атмосферу моей жизни освѣжающая струя.

Я не считалъ сначала своего чувства серьезнымъ. Но надоѣла пустая, безсодержательная и легкомысленная жизнь. Хотѣлось покоя, уюта, семейной атмосферы.

Я женился. Покоя я, правда, не нашелъ. Но зато нашелъ другое: глубокое, сильное чувство.

Дѣтей у насъ не было. Родился одинъ мальчикъ, но не прожилъ и двухъ мѣсяцевъ. Можетъ быть, потому, жена и была привязана ко мнѣ такой исключительной привязанностью. Она окружала меня всякими заботами, удобствами, читала въ моихъ глазахъ каждое желаніе. Но во всемъ этомъ было что-то рабское. И это начало меня, наконецъ, тяготить.

Ея любовь казалась мнѣ тяжелымъ крестомъ.

Вѣра не могла остаться безъ меня ни минуты, она не ходила къ тѣмъ, къ кому не шелъ я, готова была отказаться отъ всякаго удовольствія ради меня.

И безумно ревновала меня — не только къ женщинамъ, — даже къ моему искусству!

Я былъ, — какъ ни странно это звучитъ, — вѣренъ моей женѣ. Но женщины баловали меня, засыпали записками и цвѣтами. Я пѣлъ тогда въ Маріинскомъ театрѣ... И вѣдь почти изъ-за каждаго букета, изъ-за каждой корзины цвѣтовъ устраивала она мнѣ сцену...

Я любилъ Вѣру искренне и горячо, но проявленія ея любви стали такъ тяготить меня, что я началъ искать одиночества.

Бывали періоды, когда мы встрѣчались только за обѣдомъ и завтракомъ. Я зналъ, что она въ залѣ каждый спектакль. Но приходить за кулисы я ей не разрѣшалъ. А самъ часто уѣзжалъ ужинать съ товарищами.

Отъ природы я не жестокъ. И я былъ жестокимъ только съ однимъ человѣкомъ — съ женщиной, которую я любилъ больше всего на свѣтѣ...

Когда я не былъ занятъ въ оперѣ, я проводилъ вечера дома. Но часто запирался въ кабинетѣ. И зналъ, — видѣлъ сквозь стѣну, — какъ Вѣра сидитъ въ гостиной у камина, сжавши голову руками, и безсмысленно глядитъ въ огонь.

Или лежитъ на диванѣ и плачетъ.

Мнѣ стоило только подойти къ ней, ласково дотронуться до ея щеки — и она сразу бы успокоилась, почувствовала бы себя даже счастливой...

Но я не дѣлалъ этого.

Сколько разъ, видя ея заплаканные глаза, молившіе: «Не уходи», — я грубо говорилъ ей:

— Ты мнѣ противна! Нашла бы себѣ любовника и отвязалась отъ меня!

И тогда она, покорно сносившая всѣ мои оскорбленія, хрипло отвѣчала:

— Ну и найду!.. Десять найду!..

Я улыбался про себя. Я былъ увѣренъ, что для моей жены на всемъ свѣтѣ существуетъ только одинъ мужчина.

И мужчина этотъ — я.

...Повторяю: несмотря на все, я любилъ ее, и былъ ей даже вѣренъ. И если я одинъ разъ измѣнилъ ей — пустая, мимолетная связь съ хорошенькой хористкой, — то виновата только Вѣра: сама натолкнула меня своими вѣчными подозрѣніями.

Не стоитъ касаться этой исторіи, такъ неожиданно сильно повліявшей на жену.

— Я тебѣ отомщу, — говорила она мнѣ, и, чтобы привести въ исполненіе свою угрозу, завела двухъ поклонниковъ. Устраивала такъ, чтобы я натыкался на нихъ, возвращаясь съ репетиціи. Я отлично зналъ, что это — наивная и совершенно безобидная демонстрація, но все же, — сознаюсь,— въ глубинѣ души ревновалъ.

Тогда я началъ впервые понимать свою жену съ этой стороны — понимать весь ужасъ того «чудовища съ зелеными глазами», во власти котораго находилась Вѣра. Сталъ къ ней терпимѣе.

Шелъ пятый годъ нашей совмѣстной жизни. Вѣра создала изъ своего чувства какой-то культъ, молилась на меня, а я благосклонно позволялъ себя обожать, платя ей мимолетными ласками, какъ комнатной собаченкѣ...

И эта женщина, для которой не существовало на свѣтѣ ничего, кромѣ меня, — эта женщина измѣнила мнѣ съ первымъ встрѣчнымъ.

Этимъ первымъ встрѣчнымъ были — вы.

Вы, врядъ ли, вспомните, — развѣ остаются въ памяти всѣ мимолетныя приключенія, — какъ въ Петроградѣ вы познакомились въ кино съ красивой блондинкой. Пошли ее провожать. И, пользуясь ея растеряннымъ состояніемъ, привели къ себѣ...

Я долго думалъ, пытаясь разъяснить себѣ, что могло толкнуть Вѣру на этотъ поступокъ. Мнѣ тяжело писать объ этомъ.

Пусть говоритъ она сама.

...«Ты дулся на меня опять цѣлую недѣлю. Вечера, свободные отъ театра, ты проводилъ въ обществѣ ненавистнаго мнѣ Т. или въ клубѣ.

Я каждый вечеръ надѣялась, что ты вернешься раньше, но ты и изъ театра ѣздилъ куда-то и возвращался часто подъ утро.

Такъ было и въ тотъ день. Я знала, что ты придешь не раньше трехъ часовъ. Холодно поцѣлуешь меня, когда я открою, скажешь ворчливо: — «Чего не ложишься» — и пройдешь къ себѣ.

Я стояла у окна. По мокрымъ тротуарамъ шли люди. Я смотрѣла на нихъ и думала о томъ, что у каждаго есть своя особенная жизнь, свое счастье...

И никому на всемъ бѣломъ свѣтѣ нѣту дѣла до меня!..

Вспомнила, какъ весело жила я до замужества.

Вечера, пикники, катокъ, поклонники...

Ты не танцуешь. Ставъ твоей женой, я бросила балы. А я такъ люблю танцовать... Всю атмосферу бальнаго зала...

Развѣ все это уже прошло? Развѣ я не могу больше нравиться?

Я зажгла свѣтъ. Посмотрѣла въ зеркало. На меня взглянуло хорошенькое, пожалуй, даже красивое лицо. Стройная фигура въ прекрасно спитомъ платьѣ.

О, если бы я только захотѣла!..

Но я не хочу... Жизнь моя принадлежитъ ему.

А развѣ онъ цѣнитъ?

Пройдетъ лѣтъ пять-шесть — потухнетъ въ немъ остатокъ чувства, на смѣну придетъ привычка . . .

Молодость пройдетъ. Какъ сонъ — сѣрый и скучный...

И въ душѣ моей загорѣлась вдругъ такая жажда жизни, такъ захотѣлось мнѣ шума, блеска, свѣта, музыки, разговоровъ, недоговоренныхъ взглядовъ и словъ.

Потянуло къ людямъ.

Я одѣлась и вышла на улицу. Людской потокъ подхватилъ меня и понесъ.

Я зашла на огонекъ кино. Я такъ давно не была въ людныхъ мѣстахъ, что отъ свѣта, музыки и духоты у меня сдѣлалось легкое головокруженіе.

Показывали какую-то современную драму. Мужъ обманываетъ жену, а та, послѣ многихъ сценъ ревности, убиваетъ его и себя.

Игра артистки, совпавшая съ моими недавними переживаніями, разстроила меня. Музыка волновала.

Хотѣла встать и уйти — но неловко было какъ-то во время дѣйствія. Рядомъ со мной сидѣлъ офицеръ. Я замѣтила, что онъ смотритъ на меня. Его вниманіе сначала было мнѣ непріятно. Офицеръ пытался заговорить со мной. Было ясно, что я ему нравлюсь.

Мнѣ стало досадно.

— Вотъ, мужъ въ клубѣ, и, вѣроятно, даже не вспомнитъ обо мнѣ. А если я разскажу ему, какъ заинтересовался мной чужой офицеръ — снисходительно улыбнется. Онъ слишкомъ увѣренъ въ своемъ обаяніи.

Не знаю, откуда у меня явилась вдругъ такая злоба противъ тебя... И этотъ задоръ, позволившій мнѣ бросать кокетливые взгляды на сосѣда.

Музыка щекотала нервы. На разсудокъ легла пелена...

Хотѣлось беззаботнаго веселья, смѣха... Всего, чего такъ давно не было въ моей жизни...

Остальное все было сномъ.

Сномъ, отъ котораго я проснулась только на порогѣ своего дома.»

— Понимаете вы ея состояніе, когда она вернулась домой?

Меня еще не было. Я вернулся изъ клуба позже обычнаго. Я не знаю, было ли это предчувствіе — странное чувство охватило меня, когда открыла дверь не она, а прислуга.

Я ощутилъ потребность видѣть Вѣру.

Пошелъ къ ней. Она лежала съ закрытыми глазами. Какое-то по новому страдальческое выраженіе было на ея лицѣ.

Непривычная нѣжность охватила меня. Я наклонился, и поцѣловалъ ее въ лобъ.

Я ждалъ благодарной улыбки, а увидѣлъ горькія слезы.

Она отговорилась мигренью...

— Я не считаю нужнымъ давать вамъ дальнѣйшую часть исповѣди моей жены. Но вы поймете, какъ она страдала!

У нея не хватало мужества сознаться мнѣ во всемъ — можетъ быть, потому, что я былъ необычайно нѣженъ съ ней. Это были для меня свѣтлые дни безмятежнаго счастья, напомнившіе медовые мѣсяцы. Для нея дни — полные всѣхъ мученій ада...

Можетъ быть, современемъ она успокоилась бы, двойной нѣжностью искупила бы свою минутную вину, — но тутъ снова подвернулись вы.

Мы шли съ женой по улицѣ. Помню, что намъ было безпричинно весело — мы смѣялись каждому пустяку.

Вѣра шла впереди; я отсталъ, давая дорогу двумъ встрѣчнымъ дамамъ.

Какой-то офицеръ поровнялся съ женой. И, радостно улыбаясь во все свое широкое лицо, окликнулъ ее:

— Вѣрочка!

Жена смѣрила его взглядомъ съ ногъ до головы и, быстро обернувшись ко мнѣ, чтобы схватиться безпомощнымъ жестомъ за мою руку, сказала:

— Вы... вы... кажется, ошиблись!..

Страшная блѣдность жены, ея растерянность и ваша глупая физіономія сказали мнѣ все.

— Кто это? — грубо спросилъ я, схвативъ ее за руку.

— Я... не знаю... — лепетала она.

— Я догоню его и спрошу!..

Я рванулся за вами. Жена схватила меня за рукавъ.

Плакала, умоляла. Произошла дикая сцена. Мы забыли, что находимся на людной улицѣ, что любопытно оглядываются на насъ прохожіе...

Не помню, какъ вырвалъ у нея признаніе.

Знаю, что оставилъ Вѣру плачущей на порогѣ какого-то дома, а самъ ушелъ — безъ цѣли, безъ мысли...

Я не хотѣлъ тогда назвать свое чувство ревностью. Я просто считалъ себя оскорбленнымъ въ своемъ человѣческомъ и мужскомъ достоинствѣ.

Я могъ бы простить Вѣрѣ мимолетное увлеченіе, флиртъ въ мое отсутствіе — но такая пошлость!..

Для меня, человѣка съ тонко развитымъ эстетическимъ чувствомъ, нѣтъ въ мірѣ ничего отвратительнѣй пошлости.

Я провелъ ночь въ клубѣ. Мы много пили.

Когда я подходилъ къ дому, въ душѣ моей не было больше давешняго чувства гадливости къ женѣ.

Вспоминались ея слова:

— Почему у тебя двѣ разныя мѣрки — ко мнѣ и къ себѣ?

Я шелъ къ Вѣрѣ грустный, но спокойный. Я хотѣлъ безмолвной лаской сказать ей, что простилъ.

И чувствовалъ, что съ этой ночи исчезнетъ изъ нашей жизни все, что вызывало у насъ распри и непониманіе.

Въ эту ночь понялъ я, что такое муки ревности. Въ эту ночь испыталъ я то, что годами испытывала близъ меня моя Вѣра.

Я шелъ къ ней, и несъ, какъ вѣтвь примиренія, свою воскресшую любовь и свое раскаяніе.

Но я опоздалъ — она не дождалась моего прощенія...

— Теперь вы понимаете, за что я ненавидѣлъ васъ? Почему семь мѣсяцевъ разыскивалъ васъ, какъ сыщикъ!

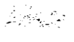
Я васъ нашелъ.

И пусть случай разсудитъ насъ...

...Только, когда она умерла, понялъ я, какъ дорога была мнѣ эта женщина. Она не вѣрила въ мою любовь... И вотъ, я приношу ей въ жертву все, что имѣю: свой талантъ и свою жизнь...

И если осталось у меня еще желаніе, это — чтобы судьба такъ же жестоко посмѣялась надъ вами, какъ надо мной!

Тогда я буду отомщенъ...



Ада.

— Невиновенъ!

Громкій вздохъ облегченія пробѣжалъ по переполненному залу.

Симпатіи всѣхъ, безъ исключенія, были на сторонѣ этого блѣднаго молодого человѣка, героя нашумѣвшаго на всю Европу процесса.

Онъ стоялъ, безпомощно озираясь по сторонамъ, словно хотѣлъ кого-то благодарить, а въ большихъ глазахъ его стоялъ нѣмой вопросъ:

— Неужели правда?

Улики были такъ велики, стеченіе обстоятельствъ такъ несчастно, что, казалось, не было въ мірѣ силы, могущей спасти его.

Но присяжные сказали:

— Невиновенъ!

Подсудимый все еще словно не соображалъ, кому онъ обязанъ спасеніемъ. Но тѣ, тамъ въ залѣ, знали это, и не одна пара женскихъ глазъ съ восторгомъ останавливалась на знаменитомъ адвокатѣ.

Но Лукьяновъ глядѣлъ равнодушно на покидавшую залъ публику. Только въ красивыхъ глазахъ его мелькалъ какой-то торжествующій огонекъ.

Взглядъ его, скользившій по залу, задержался на секунду на изящной женской фигуркѣ. Золотисто-рыжіе волосы, легкими завитушками выбивав-

шіеся изъ-подъ черной шляпки. Большіе голубые глаза, довѣрчиво искавшіе его взгляда.

Но Лукьяновъ быстро отвелъ взоръ. И только еле уловимое недовольное движеніе его классически изогнутыхъ бровей указывало, что робко-просительный взглядъ былъ имъ замѣченъ.

Въ комнатѣ было полутемно. Электрическая лампочка, прикрытая перламутровой раковиной, слабо освѣщала часть стѣны, блѣдное лицо, лежавшее на подушкѣ и мягкую тигровую шкуру на полу.

Пахло одеколономъ, валеріановыми каплями и еще чѣмъ-то, сладкимъ и душистымъ.

Когда Лукьяновъ вошелъ, больная поднялась и спросила:

— Ну, что? Я такъ волновалась.

— Оправданъ!—небрежно бросилъ Лукьяновъ. И, нѣжно цѣлуя руку больной, прибавилъ: — какъ здоровье, Глаша?

— Лихорадки больше нѣтъ. Завтра встану. Такъ досадно, что я не могла быть на судѣ. Я такъ люблю тебя слушать...

Лукьяновъ подробно передалъ ей весь ходъ процесса. Привелъ отрывки изъ своей блестящей рѣчи: зналъ, что Глашѣ доставитъ это удовольствіе.

— Боже, какъ поздно! — воскликнулъ онъ внезапно, взглядывая на золотые часики, висѣвшіе надъ ея кроватью, — тебѣ давно пора спать, да и мнѣ надо на отдыхъ!

Когда Лукьяновъ былъ уже на порогѣ, больная окликнула его:

— Костя!

— Что, дорогая?

— Пойди сюда на минутку. Я хочу разсказать тебѣ свой сонъ. Я видѣла его, собственно говоря, три дня назадъ. Но тебѣ все некогда было.

— Опять твои «вѣщіе сны»? — засмѣялся Лукьяновъ, и присѣлъ на край кровати. — Ну, я слушаю.

— Я очень хорошо помню его... Такой живой... Вижу, будто зашла за тобою въ судъ. Идемъ по коридору. Ты только что хочешь взять меня подъ руку, — смотрю, — между нами стоитъ какая-то женщина. Ни лица, ни фигуры разглядѣть я не могла. Вся, какъ тѣнь... Замѣтила только одно: волосы. Ярко-рыжіе. Съ золотымъ отливомъ.

По лицу Лукьянова промелькнуло выраженіе удивленія. Онъ пытливо взглянулъ на Глафиру Семеновну. Но та, не замѣтивъ взгляда, продолжала смотрѣть куда-то вдаль.

— Я говорю тебѣ: «Костя»! А она беретъ тебя подъ руку. Я снова окликаю тебя. А ты оборачиваешься и холодно говоришь: «Я долженъ итти съ ней». И лицо у тебя такое чужое...

Потомъ вы оба исчезли. Я только слышу, какъ смѣется она издали. Такой непріятный, неискренній смѣхъ...

И я одна. И въ коридорѣ такъ темно. И мнѣ жутко. Ужасно жутко...

И вдругъ — звѣзда... Вѣдь знаю, что въ коридорѣ — а звѣзда.

— Ну, а дальше, — нетерпѣливо перебилъ Лукьяновъ.

— Дальше не помню... Но когда проснулась — было ужасно грустно... Больно... И цѣлый день оставалось это чувство... Тебя, вѣдь, я третьяго дня не видѣла... Звѣзды — это, говорятъ, къ страданью...

— Ахъ ты, «гадатель, толкователь сновъ»! — засмѣялся Лукьяновъ.

Но смѣхъ его звучалъ немного дѣланно.

— Значитъ, соль твоего сна — рыжая женщина? — Лукьяновъ пытливо заглянулъ ей въ глаза. Но она отвѣтила такимъ чистымъ, любящимъ взгля-

домъ, что всѣ его подозрѣнія разомъ разсѣялись.

— Она ничего не знаетъ... Но откуда у женщинъ эти предчувствія?..

Лукьяновъ возвращался домой съ двоящимися чувствами.

Почти совсѣмъ слетѣло съ него торжествующее настроеніе, въ которомъ онъ часъ тому назадъ спѣшилъ къ своей Глашѣ.

Сначала Лукьяновъ думалъ о ней, вспоминая весь разговоръ.

Онъ очень любилъ разбираться въ своемъ чувствѣ къ этой женщинѣ, стараясь найти, почему эта любовь не похожа на всѣ его прежнія увлеченія. Но это была безнадежная задача, и въ умѣ его не было рѣшающей формулы.

Было такое теплое, не поддающееся анализу чувство, теплое и радостное, какъ майскій день.

Лукьяновъ думалъ о томъ, какъ долго затянулся, несмотря на всѣ его хлопоты, бракоразводный процессъ, который долженъ освободить его Глашу. Вѣдь мужъ ея былъ уже третій годъ въ психіатрической лѣчебницѣ, въ отдѣленіи для неизлѣчимо больныхъ.

Потомъ, безо всякой внѣшней связи, мысли его перескочили на Глашинъ сонъ.

— Нѣтъ, она не знаетъ ничего! — рѣшилъ Лукьяновъ.

Да что, въ сущности, могла знать Глафира Семеновна про Аду?

Совѣсть Лукьянова была дѣйствительно чиста. Познакомился онъ съ Адой случайно, въ трамваѣ. Послѣ встрѣтились раза два — опять-таки случайно, — на улицѣ. Ну, а потомъ... Потомъ начинается эта непонятная исторія.

Онъ видитъ Аду въ залѣ суда. Онъ встрѣчаетъ ее у выхода, возвращаясь послѣ засѣданія. Онъ сталкивается съ нею у своего дома. Получаетъ чуть ли не ежедневно таинственныя записочки. Полныя туманныхъ словъ, еле замаскированныхъ признаній.

Лукьянова, избалованнаго женскимъ вниманіемъ, интересовала эта исторія только новизной. Нравилось смущеніе Ады при встрѣчѣ, ея просительный взглядъ. Забавляла разница между письмами и словами — словно двѣ совсѣмъ разныя женщины.

Но теперь, когда Глаша разсказала ему свой сонъ, Лукьянову стало непріятно.

— Глаша такая хрупкая, нѣжная... Беречь ее надо...

Если она невзначай увидитъ Аду, — ей станетъ очень больно...

Надо какъ нибудь предупредить, сказать.

Но добрыя намѣренія Лукьянова такъ и остались одними намѣреніями.

— Я вовсе не смѣюсь надъ тобой, Ада, хотя надъ этимъ стоило бы смѣяться. Я всегда была снисходительна къ твоимъ фантазіямъ, но это переходитъ уже всѣ границы. Дѣвицѣ девятнадцатый годъ, а дуритъ, какъ пятнадцатилѣтняя.

— Оставь меня. Я жалѣю, что сказала тебѣ!

— О себѣ жалѣй. О собственной глупости. Вѣдь онъ смѣется надъ тобой!

— Никогда!

Ада тряхнула золотистыми волосами.

— Сама же говоришь, что онъ не любитъ тебя.

— Нѣтъ...

— Ну, вотъ видишь... Всѣ эти избалованные господа — знаменитые адвокаты, артисты — лю-

бятъ кружить головы дѣвченкамъ вродѣ тебя... А сами смѣются... Будь онъ порядочнымъ человѣкомъ, онъ давно отучилъ бы тебя отъ этихъ поджиданій на углахъ...

— Онъ не можетъ же знать, что я его жду... Онъ думаетъ: встрѣчи случайны.

— Ахъ, какая наивность!..

— Ну, и оставь меня въ покоѣ!..

Какъ жалѣла Ада, что, въ минуту глупой откровенности, призналась сестрѣ. Зина вѣдь старая дѣва... Она не понимаетъ... Ада привыкла дѣлиться съ сестрой всѣмъ... У нея нѣтъ близкихъ подругъ. Здѣсь, въ Петроградѣ... Призналась сестрѣ. Правда, не во всемъ... Но во многомъ...

Ахъ, вѣдь въ цѣломъ мірѣ нѣтъ для нея ничего, кромѣ этого властнаго, красиваго голоса, этихъ глазъ!..

Ахъ, эти глаза!..

Какъ часто казалось Адѣ, что взглядъ ихъ останавливается на ней съ выраженіемъ глубокой нѣжности.

На письма онъ не отвѣчалъ. При рѣдкихъ встрѣчахъ голосъ его былъ всегда равнодушенъ. Рукопожатіе холодное...

Но иногда, иногда... Этотъ ласкающій взглядъ, будившій всѣ надежды!

Развѣ могла знать Ада, что такимъ взглядомъ смотритъ Лукьяновъ на десятки другихъ женщинъ, на всѣхъ женщинъ вообще?

Это случилось ужасно просто, какъ и случаются всѣ подобныя исторіи. Глафира Семеновна зашла къ Лукьянову. Его не было дома. На столѣ увидѣла она розовый конвертикъ, надписанный женскимъ почеркомъ. Не удержалась, вскрыла.

— «...Я такъ хочу видѣть тебя... Я такъ соскучилась по тебѣ въ четырехъ стѣнахъ...»

Все въ такомъ же родѣ.

И подпись «Ада»...

Первая сцена ревности за два года любви, первая тяжелая сцена...

Лукьяновъ пробовалъ было сначала отрицать, но махнулъ рукой и сказалъ всю правду. Она не вѣрила. Онъ сердился.

— Какіе у нея волосы?

— Золотистые...

— Рыжіе, какъ я видѣла во снѣ?.. Я же знала, что этотъ сонъ не къ добру...

Глафира Семеновна была цѣлую недѣлю снова больна.

А онъ мучился упреками совѣсти.

— Ты страшно измѣнилась, Ада, стала просто несносной. Серьезно, тебя словно подмѣнили за эти два года, пока меня не было здѣсь.

— Какая была, такая и осталась...

Ада быстро пробѣжала пальцами по клавишамъ рояли.

— Нѣтъ, ты стала другой, — грустно сказалъ офицеръ. — Не такой представлялъ я себѣ тебя, лежа въ окопахъ. Ты просто не любишь меня больше, Ада, — закончилъ онъ грустно.

— А развѣ я говорила тебѣ когда нибудь, что люблю? — съ прежней рѣзкостью отвѣтила дѣвушка.

Офицеръ не отвѣтилъ, кусая губы.

Ада обернулась, и, увидя выраженіе его лица, громко расхохоталась.

— Ну, ну, Борька! — сказала она примирительно, — вѣдь и ты вовсе не любишь меня. Наши маменьки рѣшили, что мы должны пожениться, — а насъ то и не спросили!

— Ты не говорила такъ раньше, Ада.

Ада посмотрѣла на него внимательно. Потомъ отвернулась снова къ рояли.

Звуки шопеновской мазурки огласили комнату.

Въ душѣ Глафиры Семеновны остались все же сомнѣнія, и отогнать ихъ окончательно она не могла.

Ею овладѣло непреодолимое желаніе увидѣть эту таинственную Аду, о существованіи которой она узнала впервые изъ своего сна.

Она всматривалась на улицѣ въ лицо каждой женщины съ рыжими волосами. Она выходила на улицу съ единственной цѣлью встрѣтить ее.

— Я узнаю ее — говорила себѣ Глафира Семеновна, и желаніе увидѣть соперницу превратилось у нея въ какую-то idél fixe.

Но съ Лукьяновымъ про Аду она больше неговорила.

...«Ты знаешь, что я люблю тебя, и не могу безъ тебя жить...

Но ты такъ жестокъ ко мнѣ, такъ холоденъ...

Врядъ-ли кто полюбитъ тебя такъ, какъ я... О, я знаю, ты пожалѣешь, и еще какъ, что не оцѣнилъ моей любви!...

Хорошо, я знаю, что дѣлать. У меня есть человѣкъ, который безумно любитъ меня. Умоляетъ, чтобы я стала его женой!

И я соглашусь.

Прощай!..

Смотри, не пожалѣй, что толкнулъ меня на этотъ шагъ...

Ада.

P. S. Скажи слово — и я оставлю все, и уйду за тобой на край свѣта...»

И на это письмо отвѣта не было...

Предстоялъ снова запутанный процессъ. Лукьяновъ, утомленный днемъ работы, поѣхалъ вечеромъ къ своей подзащитной.

Глафира Семеновна была опять не совсѣмъ здорова. День провела она въ постели, но къ вечеру встала и рѣшила поѣхать къ Лукьянову.

Для нея не было тайной, что этотъ, такой уравновѣшенный на видъ, человѣкъ очень волнуется передъ каждымъ процессомъ, и, уйдя съ головой въ работу, способенъ ни ѣсть, ни пить два-три дня.

Глафира Семеновна рѣшила позаботиться объ его ужинѣ. Возилась на кухнѣ, гоняла прислугу въ магазины и лихорадочно прислушивалась къ каждому звуку, ожидая звонка.

Лукьяновъ долго не приходилъ. Глафиру Семеновну лихорадило.

— Не надо было выходить сегодня, — думала она.

Проходя мимо, бросила быстрый взглядъ въ зеркало.

— Фу, какая я сегодня неинтересная...— досадливо подумала она.

Температура поднялась. Сильно разболѣлась голова. Пришлось послать прислугу въ аптеку за порошкомъ.

Позвонили.

Полная радостнаго чувства, рванулась она къ двери. Открыла

Передъ Глашей стояла дѣвушка въ бѣлой мѣховой шапочкѣ, изъ-подъ которой выбивались пряди рыжихъ волосъ.

Глафира Семеновна поняла, что мечта ея исполнилась: передъ ней стояла Ада.

На минутку въ душѣ промелькнуло гадкое подозрѣніе:

— Вотъ почему онъ прислалъ записку, что не будетъ у меня сегодня!

Нѣсколько секундъ обѣ смотрѣли другъ на друга.

— Господинъ Лукьяновъ дома? — рискнула наконецъ спросить Ада.

— Нѣтъ, но онъ сейчасъ вернется. Вы можете подождать...

Глафира Семеновна боялась, что Ада уйдетъ. Но та, послѣ минутнаго колебанія, переступила порогъ.

Глаша указала на дверь гостиной, но дѣвушка, не замѣтивъ ея жеста, вошла въ кабинетъ.

— Значитъ, уже бывала здѣсь! — враждебно подумала Глафира Семеновна.

И мысль эта вызвала какую-то, почти физическую, боль въ ея сердцѣ.

Прошло минутъ двадцать. Но обѣимъ женщинамъ — въ столовой и въ кабинетѣ — казалось, что прошло нѣсколько часовъ.

У сосѣдей играли гаммы. Настойчиво тикали часы. Глафира Семеновна ходила по комнатѣ, и съ досадой думала — чисто по-женски:

— И надо же ей было увидѣть меня сегодня, когда у меня болитъ голова, когда я такъ неинтересна и одѣта не къ лицу!...

Она поѣхала къ Лукьянову, какъ сидѣла дома — не переодѣваясь.

Наконецъ, раздался долгожданный звонокъ. Пройдя въ переднюю, Глафира Семеновна сквозь пріотворенную дверь видѣла, какъ насторожилась Ада.

— Глаша — вотъ сюрпризъ! — съ непритворной радостью произнесъ Лукьяновъ.

Но Глафира Семеновна быстро вырвала свою руку.

— Тебя ждутъ съ нетерпѣніемъ.

— Ждетъ? Кто же?

— Твоя Ада...

— Ну, что же... Желаю вамъ отъ души счастья... — сказалъ Лукьяновъ, нервно вертя перламутровую ручку и почти не глядя на сидѣвшую передъ нимъ дѣвушку.

— Неужели она не понимаетъ, что она лишняя! — думалъ онъ. Усталому, ему хотѣлось покоя, хотѣлось ѣсть. А тутъ еще перспектива сцены съ Глашей...

А могъ быть какой уютный вечеръ!...

Онъ почти ненавидѣлъ сейчасъ сидѣвшую передъ нимъ дѣвушку.

Но она не понимала, или не хотѣла понимать, — какъ бывало всегда, когда она приходила къ нему...

Первый разъ попала Ада сюда случайно.

Занесла сама письмо и бросила въ ящикъ у двери, но въ эту минуту Лукьяновъ какъ разъ вернулся домой.

— Вы ко мнѣ? — удивился онъ.

— Я... да... нѣтъ...

Дѣвушка смутилась.

Постояли нѣсколько минутъ на лѣстницѣ. Обоимъ было неловко. Разговоръ не клеился. Нехотя Лукьяновъ сказалъ:

— Зайдите.

Сказалъ, потому что чувствовалъ: дѣвушка ждетъ этого.

Ада вошла. Сидѣла съ полчала. Говорила о пустякахъ. Смотрѣла ему въ глаза, стараясь уловить то знакомое, ласкающее выраженіе.

Съ того самаго вечера она стала заходить — подъ разными предлогами... Но, по какой-то странной случайности, ни разу не наткнулась, — какъ ни боялся этого Лукьяновъ — на Глашу.

— Итакъ, вы будете у меня... на свадьбѣ? — приподнимаясь, спросила Ада.

— Я не обѣщаю, Ада, но постараюсь быть.

Они вышли въ переднюю. Дверь въ столовую была открыта. На порогѣ, прислонившись къ косяку, стояла Глаша. Увидя ихъ, она быстро захлопнула дверь.

— Это ваша... любовь?... — насмѣшливо спросила Ада, намѣренно долго возясь съ мѣховыми ботами.

— Да — въ тонъ ей отвѣтилъ Лукьяновъ.

— Удивляюсь вашему вкусу... Старая и неинтересная...

Онъ пожалъ плечами. По губамъ мелькнула усмѣшка.

— Прощайте, — глухо сказала Ада, уже съ порога, и взглядъ ея ушелъ глубоко въ бездну его глазъ.

Но не прочелъ въ нихъ отвѣта...

Собирались въ оперу.

Глаша должна была заѣхать за нимъ — ей по дорогѣ. Лукьяновъ стоялъ у окна, давно одѣтый, и ждалъ.

Подъѣхалъ извозчикъ. Мелькнуло знакомое лицо. Чтобы не заставлять Глашу подниматься по лѣстницѣ, онъ быстро вышелъ въ сѣни — и наткнулся на женскую фигурку, стоявшую у дверей въ раздумьѣ: звонить или нѣтъ.

— Ада!

Это прозвучало почти раздраженно. Мелькнула

мысль, что Глаша уже, навѣрное, поднимается по лѣстницѣ...

Вчера вечеромъ было такъ хорошо. Казалось, что черная тѣнь, ставшая между ними съ появленіемъ Ады, начинала окончательно таять. А тутъ опять...

— Вы уходите?

— Да, я тороплюсь. Вы что-нибудь хотѣли?

На лѣстницѣ уже слышались шаги.

— Да я.... вѣдь послѣзавтра моя свадьба...

— Послѣзавтра я не могу... Засѣданіе юридическаго бюро...

— Можетъ быть, послѣ засѣданія?

— Врядъ-ли...

Шаги совсѣмъ близко...

— Но я васъ такъ прошу!...

Шаги затихли: Глаша увидѣла Аду...

— Простите, я тороплюсь.

И, пожавъ небрежно маленькую ручку, Лукьяновъ сбѣжалъ три ступеньки, отдѣлявшія его отъ Глаши....

Засѣданіе затянулось очень долго. Лукьяновъ былъ секретаремъ и не могъ уйти раньше самаго конца, хотя и зналъ, что Глаша ждетъ.

Лукьяновъ сознавалъ, что каждая минута промедленія будитъ новыя подозрѣнія въ Глашиной душѣ. И ему было больно.

Былъ второй часъ ночи, когда стали расходиться.

— Пріѣду обязательно, какъ бы поздно ни кончилось засѣданіе — сказалъ вчера Лукьяновъ.

Глафира Семеновна ждала его съ одиннадцати часовъ. Къ половинѣ двѣнадцатаго приготовила ужинъ.. Но пробило двѣнадцать, половина перваго... часъ.

Его все еще не было...

Читать не могла. Опять знобило. Начинался легкій бредъ.

Женщина съ рыжими волосами...

Ада и Костя, Костя и Ада — оба эти образа переплетались въ причудливыхъ сочетаніяхъ.

Наконецъ, изъ хаоса выплыла опредѣленная картина.

Небольшая комната съ голубыми обоями. На столѣ — электрическая лампа съ зеленымъ колокольчикомъ. Передъ ней — ярко освѣщенная фигура.

Побѣжали отъ зеленаго абажура зеленоватыя тѣни по лицу. Растрепались рыжіе волосы. Въ рукѣ — высокій стаканъ. Какъ дрожитъ эта тонкая рука... Глаза закрыты. Но Глафира Семеновна чувствуетъ выраженіе этихъ глазъ, полныхъ безысходной тоски...

— Ада! — хочетъ крикнуть Глаша, — но съ губъ ея срывается только: «а... а... а...»

— Что съ тобой?

Надъ ней наклоняется озабоченное лицо Лукьянова.

— Гдѣ Ада?

— Опять ты думала о ней?... Ты же обѣщала!..

— Я видѣла ее сейчасъ... во снѣ... добавляетъ она на вопросительный взглядъ Лукьянова. — А ты... ты видѣлъ ее сегодня?

— Я получилъ опять письмо. Ты вѣдь знаешь: завтра ея свадьба... Звала. Я отговорился засѣданіемъ... Почемъ она знаетъ, что оно сегодня, а не завтра?

— Что она пишетъ?

Лукьяновъ колебался съ минуту, потомъ досталъ и подалъ Глашѣ розовый конвертикъ. Она еле разобрала набросанныя неразборчиво карандашомъ слова.

«— Я знаю, что это — безуміе... Но я люблю

тебя, и не могу разсуждать... Ты оскорбляешь меня, а я тебя люблю...

Завтра, ты знаешь, моя свадьба.

Тебѣ это все равно.

Неужели не понимаешь, что толкаешь меня на гибель?

Я люблю тебя. Я согласна для тебя на всякую жертву. Напиши мнѣ слово — я брошу все, и приду къ тебѣ...

Не отталкивай меня...

Я жду отвѣта — послѣдняго отвѣта...

Ада».

— Ну, и что ты отвѣтилъ? — страннымъ тономъ спросила Глаша.

— Я сказалъ посыльному: «Отвѣта не будетъ»...

Онъ наклонился и молча поцѣловалъ смотрѣвшіе на него печальные глаза.

И въ этомъ поцѣлуѣ прочла Глаша отвѣтъ на вопросъ, давно мучившій ея душу...

— Отвѣта не будетъ...

Она опустила голову и пошла медленно по улицѣ.

Шелъ мелкій, липкій снѣгъ.

— Отвѣта не будетъ..

Да на что еще надѣялась она, какого отвѣта могла ожидать? — Какъ будто бы все не ясно и такъ!...

Тяжелый камень давилъ сердце. Будущее рисовалось похожимъ на этотъ зимній сѣрый вечеръ.

Пришла домой. Раздѣлась. Сѣла на диванъ.

Часы, минуты — все слилось въ какой-то кругъ, изъ котораго ясно выступало одно:

— Отвѣта не будетъ...

И еще безпокоило что-то... Такъ смутно, смутно...

Но внезапно это «что-то» прорвало туманъ, и крикнуло ей:

— Завтра!

Да, завтра — ея свадьба съ Борей...

Ада жестко усмѣхнулась. Этотъ шагъ, который еще вчера рисовался ей заманчивой картиной мести — сегодня казался глупымъ, необдуманнымъ, непоправимымъ...

Развѣ непоправимымъ?

Ада зажгла лампочку. Зеленоватый свѣтъ скользнулъ изъ-подъ абажура по голубымъ обоямъ, заигралъ на золотистыхъ волосахъ.

— Здѣсь!

Дѣвушка достала изъ маленькой коробочки конвертикъ съ бѣлымъ порошкомъ. Долго смотрѣла на мелкіе, какъ песокъ, кристаллики... Рука потянулась къ стакану... Золотистой волной упали на плечи длинные волосы...

И, смѣясь надъ послѣдними колебаніями дѣвушки, стучала и гремѣла въ мозгу неотвязная мысль:

— Отвѣта не будетъ...

Маска.

— Маска, я тебя знаю!

— Неужели? Ну-ка, подойди ближе!

Стройная фигура, съ ногъ до головы закутанная въ черное покрывало, расшитое золотыми звѣздами, повернулась передъ нимъ на каблукахъ.

— Смотри!

— Не узнаю...

— И не узнаешь! А ты со мною хорошо знакомъ!

— Я думаю — ты ошибаешься. Принимаешь меня за другого. Никто не знаетъ, что я вернулся въ Парижъ.

— Да, всѣ думаютъ, что ты еще въ Бордо. Ты вернулся неожиданно восьмичасовымъ поѣздомъ. Сказать тебѣ твое имя? Тебя зовутъ: Жюльенъ де....

— Не надо, не надо! Я вѣрю, что ты меня знаешь! Но кто могъ сказать тебѣ о моемъ возвращеніи? Никто не видалъ меня на лѣстницѣ. Даже слуги не было дома.

— Когда ты подъѣхалъ, консьержа не было у воротъ. Тебѣ пришлось самому внести наверхъ свой чемоданчикъ. Слуги тоже не было дома. Ты первымъ дѣломъ выпилъ стаканъ вина и выкурилъ сигару. Тебѣ было холодно. Ты попробовалъ растопить каминъ. Но дрова были сырыя, и ты сердился. Потомъ ты легъ на кушетку, вынулъ газету. Изъ нея ты узналъ о маскарадѣ и

рѣшилъ поѣхать, такъ какъ подозрѣвалъ, что застанешь тутъ одну даму.

— Однако, маска, ты, кажется, освѣдомлена даже о моихъ сердечныхъ дѣлахъ?

Маска утвердительно кивнула головой.

— Дама, которую ты хотѣлъ встрѣтить здѣсь, маленькаго роста. Бѣлокурые волосы. Красивые глаза. У нея есть прелестный темно-красный костюмъ, отдѣланный бѣлымъ мѣхомъ. Она замужемъ за капитаномъ, который второй годъ въ отъѣздѣ. Ее зовутъ...

— Довольно! — прервалъ, весь вспыхнувъ, Жюльенъ. — Вы, оказывается, систематически шпіонили за мной, проникали въ мое отсутствіе, въ мою квартиру. Но съ сыщиками, шпіонами и тому подобными личностями знакомствъ, хотя бы и маскарадныхъ, я не завожу...

— Не надо сердиться! — мягко сказала она, загораживая ему дорогу. — Въ квартирѣ твоей я никогда не была и никогда за тобой не шпіонила...

— Кто же ты, и откуда ты все знаешь?

Жюльенъ успокоился такъ же быстро, какъ и вспылилъ.

— Развѣ ты не видишь? Я — Ночь, звѣздная ночь, которая все видитъ, но не выдаетъ своихъ тайнъ.

— Ты все знаешь... Можетъ быть, ты знаешь, почему Сюз... Почему эта дама, ради которой я здѣсь, не пріѣхала сюда?... Она уже мѣсяцъ назадъ радовалась этому маскараду.

— Ты хочешь сказать: «Сюзанна»? Она сейчасъ дома. И не одна!...

— Молчи! — разсердился снова Жюльенъ, — ты заходишь слишкомъ далеко!

— Могу замолчать. Могу даже уйти, если ты этого хочешь!

Ночь повернулась, чтобы идти. Жюльенъ схватилъ ее за руку.

— Не уходи... а говори... все, что знаешь!...

— Ты давно подозрѣваешь, что Сюзанна обманываетъ тебя. И даже знаешь, кто твой соперникъ Его фамилія начинается съ буквы Д.

— И ты утверждаешь, что онъ сейчасъ у Сюзанны?

— Да.

— Кто бы ты ни была, и каковы бы ни были твои мотивы — благодарю тебя, маска! Я сейчасъ поѣду къ ней: Я...

— Напрасно... Вѣдь ты знаешь, что, пока ты будешь звонить у парадныхъ дверей, соперникъ твой уйдетъ черезъ ту дверцу, за шкафомъ... въ ея гардеробной...

— Но у меня есть ключъ отъ этой двери!

— Ну, такъ что же? Когда тебя не ждутъ — дверь заставлена шкафомъ...

— Да, я забылъ объ этомъ... Но кто ты?... Откуда ты все это знаешь?

— Я — Ночь...

— Довольно комедій! И вообще, я не вѣрю ни единому твоему слову!...

— Мнѣ жаль тебя... Но я должна кончить, что начала. Вотъ записка, которую Сюзанна писала сегодня утромъ виконту Д. Ты вѣдь ея почеркъ знаешь?

Жюльенъ быстро пробѣжалъ записку. Хотѣлъ разорвать. Но передумалъ и сунулъ въ карманъ.

Ночь молчала. По залѣ носились, въ волнующихъ звукахъ вальса, пары. Раздавался женскій смѣхъ и визгъ арлекиновъ.

— Ты ее очень любишь? — тихо-тихо спросила она.

Жюльенъ не отвѣтилъ.

— Не думай сейчасъ о ней... Забудь — на сегодня — и свою къ ней любовь, и свое горе... Посмотри на эту толпу. Неужели, думаешь, они такъ беззаботны, какъ кажутся? Неужели не осталось

у нихъ дома и тоски, и страданій, и ревности? Но это все оставили они дома. А сюда принесли только веселый смѣхъ! Здѣсь — царство смѣха, безумія и забвенья!...

— Ты права, — мрачно сказалъ Жюльенъ — безумья и забвенья!...

И, взявъ маску подъ руку, повелъ ее внизъ.

Внизу, въ буфетѣ, было душно, шумно, накурено, весело. Въ сизыхъ облакахъ табачнаго дыма мелькали пестрыя коломбины, цвѣты, домино, русалки и цыганки. Растрепавшіеся волосы, обнаженныя руки. Ярко искрившіяся блестки костюмовъ.

Жюльенъ выпилъ залпомъ два бокала и задумался. Легкая ручка легла ему на плечо.

— Не надо думать сегодня! — сказала Ночь.

— Ты не пьешь ничего? — замѣтилъ Жюльенъ. — Иди сюда, ближе, чокнемся и выпьемъ за наше знакомство! Ты такъ хорошо освѣдомлена о моей жизни. А между тѣмъ, твой голосъ мнѣ совершенно незнакомъ.

— Однако, скоро же забываешь ты тѣхъ, кому клялся въ вѣчной любви!

— Я вообще никогда не даю женщинамъ никакихъ обѣщаній. Ну, и давно это было?

— Какое значеніе имѣютъ для любви года? Не все ли равно, десять дней или десять лѣтъ прошло съ того момента?

— Очень благодаренъ тебѣ за постоянство. Но, при всемъ желаніи, вспомнить тебя не могу. И пальчики эти мнѣ совсѣмъ незнакомы... Ну, напомни мнѣ что-нибудь о нашей любви.

Жюльенъ притянулъ слегка сопротивлявшуюся Ночь къ себѣ.

— Я разскажу тебѣ о нашей первой встрѣчѣ. Это было на балу. Какъ и сейчасъ, звучала музыка, носились веселыя пары. Только это было не зимой, а весною. Послѣдній балъ въ сезонѣ.

Блѣдный разсвѣтъ спорилъ съ блескомъ электричества. Мы сидѣли близко отъ окна. Ты говорилъ, что въ глазахъ моихъ отражается разсвѣтное небо...

— Балъ весною... разсвѣтъ... — припоминалъ Жюльенъ, — Луизъ?.. Нѣтъ, Луизъ была меньше ростомъ, и у нея были такія пухлыя лапки.

Ночь засмѣялась.

— О, нѣтъ, я не Луизъ!... Ну, хорошо. Напомню тебѣ ночь, когда я стала твоей....

Ночь понизила голосъ до шопота.

— Была гроза. Страшные раскаты грома. Лиловыя молніи освѣщали комнату. Я боялась грозы, но тебя боялась еще больше. Я боялась твоихъ ласкъ — и жаждала ихъ...

— Неужели это ты, Иренъ?

— Нѣтъ, я не Иренъ... Неужели ты забылъ эти клятвы, эти ласки, эти ночи?..

Было одно утро послѣ бала. На мнѣ было новое платье изъ зеленаго газа. Съ серебромъ... Ты никакъ не могъ разстегнуть — и разорвалъ его... Помнишь, какъ мы смѣялись потомъ — во всей квартирѣ у тебя мы не могли отыскать булавокъ....

— Такъ, значитъ, ты — Аннетъ? Нѣтъ, у тебя смѣхъ — серебристый, а у Аннетъ былъ такой рѣзкій...

— Нѣтъ, вижу, ты совсѣмъ забылъ меня!... У тебя, навѣрное, было такъ много романовъ. Неужели, они всѣ такъ похожи одинъ на другой?

Ну, сознайся, сколько романовъ было у тебя? Ну, приблизительно! Триста? Пятьсотъ? Семьсотъ? Тысяча?

Ночь, прижимаясь къ нему, пыталась загля-

нуть ему въ глаза, блестѣвшіе сквозь дырочки красной маски. Въ огненномъ костюмѣ Мефистофеля былъ сегодня Жюльенъ.

— Нѣтъ, врядъ ли больше, чѣмъ... Впрочемъ, я вѣдь списка не составлялъ...

— И ты такъ скоро забываешь?

— Я удивляюсь, какъ я могъ забыть тебя. Ты мнѣ очень нравишься...

— Ну, а тебя не интересуетъ число моихъ любовниковъ?

— Сколько ихъ было у тебя? Ну, не больше ста. Ты еще слишкомъ молода — это чувствуется...

— Меньше, меньше! ..

— Пятьдесятъ? Двадцать пять? Дюжина? Полдюжины? Неужели еще меньше? Это уже совсѣмъ неприлично. Три? Два? Неужели только два?

Она снова засмѣялась, и, обнявъ его за шею, шепнула на ухо:

— Одинъ... только одинъ...

И одинъ этотъ — ты!

— Сознаюсь, у меня было не мало маскарадныхъ интригъ, но такой случай со мной впервые. Чужая, совершенно незнакомая мнѣ дѣвушка — невинная дѣвушка — выдаетъ себя за мою бывшую любовницу, позволяетъ обращаться съ ней, какъ съ первой встрѣчной маской. Къ чему эта комедія, этотъ обманъ?

— Люблю тебя! — сказала она.

— Неужели у тебя не было другого способа познакомиться со мной?

— Нѣтъ.

— Скажи — въ голосѣ Жюльена послышалось подозрѣніе — можетъ быть, и это ты выдумала, про Сюзанну?

— Ты же видѣлъ записку!... Ты знаешь ея почеркъ... Ну, не вспоминай сейчасъ ее, не надо!...

— Но скажи, что привело тебя ко мнѣ сегодня? Кто ты?

— Ты узнаешь все.

«И еще до лучей золотого разсвѣта
Выдастъ тайну великую ночь...»

— Это — мои стихи.

— Я знаю ихъ наизусть. Всѣ... всѣ... Почему ты такъ давно не писалъ?

— Скучно... Нѣту захватывающихъ темъ... Все старо...

— Хочешь, — я дамъ тебѣ тему для разсказа или поэмы. Я разскажу просто, какъ умѣю. А ты отдѣлаешь и напишешь. Хорошо? Обѣщай мнѣ, что напишешь!

— Обѣщаю...

— Какъ начать? Ну, попробую такъ, какъ начинала моя старая бабушка: «жилъ-былъ»...

Ну, вотъ, жилъ-былъ одинъ поэтъ. Онъ былъ талантливъ, молодъ, красивъ. Избалованный женщинами, онъ рано разочаровался въ нихъ. Многія любили его, но ни одна не могла понять его, проникнуть въ его душу...

Поэтому онъ скоро уходилъ отъ нихъ. И любилъ только свои стихи. Потому что это была часть его души... Его красивой, страдающей души, прикрытой отъ свѣта непроницаемой маской.

Никто не зналъ, что таилось за ней.

И только одна дѣвушка поняла его душу, отыскала ее между рифмованныхъ строкъ его твореній...

Поняла — и полюбила.

Но онъ былъ богатъ и славенъ Она — незамѣтна и бѣдна.

Однажды, въ короткій мигъ отдыха между часами тяжелаго труда, попалась ей въ руки книга

того поэта. Съ тѣхъ поръ она не хотѣла читать ничего другого.

Она учила его стихи наизусть. Она напѣвала ихъ за работой. Она твердила ихъ во снѣ. Читала вмѣсто молитвы...

Дѣвушка узнала, гдѣ жилъ поэтъ. Переѣхала на ту же улицу.

Случай захотѣлъ, чтобы отъ нея были видны окна двухъ его комнатъ. И вотъ она стала проводить у окна каждую свободную минуту своей трудовой жизни.

Иногда, просыпаясь по ночамъ, она видѣла у поэта свѣтъ. Видѣла, какъ сидитъ онъ за своимъ столомъ.

И тогда знала, что онъ создаетъ эти чудныя, звучныя рифмы...

Сначала дѣвушка хотѣла, чтобы поэтъ обратилъ на нее вниманіе, встрѣчая на улицѣ. Но развѣ онъ могъ ее понять?

А онъ долженъ былъ понять ее, какъ поняла его душу она!...

...Какъ больно было ей, когда она увидѣла у него первую женщину. Много ихъ приходило къ нему потомъ. Но она знала, что ни одна изъ этихъ женщинъ не любила поэта... Потомъ стала приходить новая. Одна и та же. Она узнала имя этой дамы. Та была ея заказчицей — дѣвушка была модисткой... Болтливая горничная разсказала ей все: и про дверцу, и про свиданія... Дѣвушка знала, что поэтъ очень любитъ ту женщину... И страдала глубоко.

Какъ больно бывало ей, когда счастливая соперница приходила къ поэту. Когда она бывала невольной свидѣтельницей ихъ ласкъ. Никогда не завѣшивалъ оконъ поэтъ...

Она бросала работу, зарывалась съ головой въ подушку, и мечтала. До боли мечтала, что это она

— съ поэтомъ, что это ее ласкаетъ онъ, создаетъ для нея свои слова и строфы.

И, чѣмъ ярче становились сны, тѣмъ больше вѣрила она своимъ мечтамъ, тѣмъ чаще мѣшала съ дѣйствительностью.

И скоро мечты ея стали жизнью, а жизнь, трудовая и сѣрая, стала казаться нуднымъ и скучнымъ сномъ...

И когда она узнала, что любимая имъ женщина безбожно обманываетъ поэта, — ей стало такъ его жаль... такъ обидно за его красивую любовь...

О, что бы дала она за то, лишь бы имѣть право притти къ нему, приласкать, сказать:

— Зачѣмъ ты ищешь любви тамъ, гдѣ ея нѣтъ? Зачѣмъ разбрасываешь попусту золото своей души и своей мысли? Вотъ гдѣ любовь! Любовь безкорыстная, искренняя, чистая...

И она рѣшила добиться его любви...

Отдать ему все: и душу, давно жившую только имъ, и чистое, дѣвственное тѣло...

Пусть это будетъ мигъ — только мигъ... Но воспоминаніями о немъ освѣтится вся жизнь... До могилы...

И она добилась своей цѣли.

— Она добилась, — какъ эхо повторилъ Жюльенъ. — Ну, а дальше?

— Дальше? Конецъ придумай самъ, на то ты и писатель!..

Загадочная улыбка промелькнула по лицу Ночи.

— Она добилась своего. Добилась того, что онъ оцѣнилъ ея дивную душу, оцѣнилъ съ первой же встрѣчи... И полюбилъ ее... Полюбилъ совсѣмъ новой, свѣтлой любовью.

Жюльенъ не докончилъ фразы, и приникъ губами къ ея плечу въ новомъ порывѣ страсти.

— Милый, — прошептала она, — какъ бы хотѣла я вѣрить въ силу твоей любви!.. Но она растаетъ съ первыми лучами зари.

Февральское солнце играло на узорахъ обоевъ, когда Жюльенъ открылъ глаза.

Зажмурился. Сладко потянулся въ постели.

Въ ушахъ звучала еще музыка. Въ головѣ мелькали обрывки воспоминаній.

Таинственная маска... Красивое лицо съ такими жгучими глазами.

Романическая исторія про швейку изъ сосѣдняго дома. Измѣна Сюзанны...

Жюльенъ проснулся окончательно.

— Пустяки! — рѣшилъ онъ, — и какъ я могъ вчера придать этому значеніе? Сейчасъ одѣнусь, и поѣду къ Сюзаннѣ. Конечно, это какое нибудь недоразумѣніе.

Но къ Сюзаннѣ какъ-то сейчасъ не тянуло. Образъ съ жгучими глазами не исчезалъ изъ памяти.

— Нельзя придавать значенія всякой маскарадной интригѣ, — выбранилъ себя Жюльенъ, и позвонилъ слугѣ.

Когда потянулся къ звонку, задѣлъ за что-то рукой. Это была черная шелковая маска, забытая на подушкѣ... Взялъ маску въ руки... И снова наплыли воспоминанія только что пережитаго...

И хорошее, свѣтлое чувство, то самое, что посѣщало его въ минуты творчества, охватило Жюльена.

Что-то красивое, новое, ясное, казалось, вступало въ его жизнь. Ясное и яркое, какъ это солнце, заливавшее комнату...

Жюльенъ снова позвонилъ слугѣ. Еще и еще. Только послѣ третьяго звонка появился онъ въ спальнѣ.

— Виноватъ, сударь, — сказалъ слуга, — вы изволили долго звонить? Я былъ на улицѣ. — Тамъ несчастье случилось.

— Что такое? — разсѣянно спросилъ Жюльенъ, закуривая папиросу.

— Одну барышню автомобилемъ переѣхало: сама бросилась. Такая молоденькая, красивая. Вѣрно, съ маскарада возвращалась — въ маскарадномъ костюмѣ... Прямо на смерть... Такая молоденькая... Консьержъ говоритъ: портниха изъ сосѣдняго дома... Прикажете умываться, сударь?

— Да, да, — односложно отвѣтилъ Жюльенъ, и нервно сжалъ въ рукѣ черную шелковую маску...

Молчатъ пески.

Молчатъ пески...

Голубое лѣтнее небо разстилается надъ ихъ необъятнымъ просторомъ и нѣтъ нигдѣ тѣни подъ голубымъ шатромъ.

Жарко, жарко...

Зной идетъ и отъ прозрачно-синяго неба, и отъ бѣлыхъ разсыпчатыхъ песковъ. Жарко головѣ, жарко ногамъ.

Ничего живого. Ни комара, ни стрекозы, ни докучливыхъ мухъ. Только убѣгающіе вдаль телеграфные столбы съ тонкими гудящими проводами кажутся живыми.

Молчатъ пески.

Безконечно тянутся они отъ сѣвера къ югу, то холмистые, то ровные, и только съ запада и востока одѣваетъ ихъ черный сосновый лѣсъ.

Въ лѣсу — жизнь. Сотни стрекозъ, изумрудныхъ, синихъ, желтыхъ, съ жужжаніемъ поднимаются изъ травы. Во мху кишатъ безчисленныя насѣкомыя. Лоснящіяся лягушки перепрыгиваютъ смѣшно съ кочки на кочку. Прячась въ вѣтвяхъ, зорко высматриваютъ свою добычу разнообразныя птицы.

А вотъ и люди. Ихъ двое. Оба — молодые, радостные, — выходятъ изъ дышащаго смолой лѣса на мертвые пески.

— Не понимаю тебя, Люся. Здѣсь такой чудесный лѣсъ, море, — а ты всегда стремишься на эти

пески. Ну, что тутъ хорошаго? Жарко, пыльно, тоскливо однообразно...

— Я не знаю, Витя...

Люся смотритъ вдаль, и сѣрые обычно глаза ея, отражая небо, кажутся сейчасъ голубыми.

— Я не знаю... Я люблю бродить вечеромъ у моря. Оно разсказываетъ что-то, Витя... Люблю слушать, что говоритъ лѣсъ. Но, если я выйду, задумавшись, изъ дому, я всегда попаду на эти пески. Я не люблю ихъ, я ихъ боюсь... Но меня тянетъ сюда неудержимо...

Сейчасъ ясно, сейчасъ тихо. А вотъ въ пасмурный день, когда небо сѣрое, когда накрапываетъ дождь, налетаетъ вѣтеръ... Небо сизое... Лѣсъ темный и жуткій... Тогда пески говорятъ... О чемъ — не знаю. Но что-то жуткое, жуткое...

И я иду слушать ихъ...

Надъ песками вставала луна. Большая, красная, плоская.

Она медленно поднималась надъ чернымъ кустарникомъ на дюнахъ, становилась изъ красной оранжево-желтой. Потомъ приняла свой обычный мертвенный цвѣтъ. Обойдя полнеба, луна стала на югѣ. Отсюда ей была видна маленькая комнатка, гдѣ, на бѣлой кровати, свѣтилась бѣлая фигурка.

Люся не могла сегодня спать.

Да развѣ можно спать въ такую ночь?. Ну, развѣ не чудесна жизнь, дающая такія ночи? Развѣ не чудесна любовь, при свѣтѣ которой весь міръ кажется новымъ и сказочнымъ?

И пески, милые пески — свидѣтели его поцѣлуевъ...

Такъ, какъ сегодня, не цѣловалъ онъ еще никогда...

— Вѣдь, въ воскресенье — наша свадьба, — сказалъ онъ.

И Люся отвѣтила:

— Да, въ воскресенье...

Почему не сегодня?

Почему она сказала «нѣтъ»...

И въ воспоминаніяхъ жгутъ его поцѣлуи...

До воскресенья — три дня.

Почему ты насмѣшливо улыбаешься, луна?

Ты что-то знаешь?

— Люся, скорѣй. Портниха торопится въ городъ.

— Сейчасъ, мамочка, сейчасъ!

Люся входитъ въ гостиную, гдѣ черезъ кресло переброшено что-то бѣле, воздушное, сказочное.

Портниха, сѣдая, но юношески юркая, ходитъ кругомъ, поправляетъ складки. Люся не слушаетъ, что говоритъ магъ. Смотритъ на себя въ зеркало.

Удивляется, что такъ блѣдна.

— Фату!

Невѣста видитъ свое отраженіе — и оно кажется и чужимъ, и страшнымъ. Когда снимаетъ платье, на глазахъ — слезы.

— Люся, что съ тобой?

Но Люся не слышитъ. Она уже въ саду. Открыла калитку.

Идетъ въ пески...

Молчатъ пески...

Сѣрое низкое небо нависло надъ ихъ просторомъ. Надъ чернымъ лѣсомъ встаетъ тяжелая сизая туча.

Будетъ гроза.

Солнца нѣтъ, но паритъ. Тяжко. Невыносимо.

Въ эту погоду пробуждается въ человѣкѣ все дурное. Въ эту погоду зрѣютъ въ сердцѣ черныя мысли.

Ты, сѣро-сизая туча, скорѣе рождала бы ты молнію!..

— Пески, милые, жгучіе пески, вы жжете тѣло такъ, какъ жгутъ его поцѣлуи! Но онъ не цѣловалъ никогда тѣла. Только шею. Одинъ разъ — грудь...

Здѣсь, на пескахъ...

Пески, милые пески, цѣлуйте меня всю!

Вы не можете, вамъ мѣшаетъ одежда? Прочь ее, прочь!..

Цѣлуйте горячѣе мое тѣло, милые, милые пески!

Ниже и ниже сизое небо.

Черная туча, покинувши лѣсъ, распростерлась теперь надъ песками. Сумерки среди дня.

Съ рѣзкимъ крикомъ пронеслись надъ песками три сѣрыхъ и страшныхъ вороны.

«Кра-кра» — донеслось сверху.

Но молчатъ пески и жгутъ раскаленными поцѣлуями обнаженное тѣло прекрасной дѣвушки.

Есть жизнь въ пескахъ.

Тяжелой походкой пробирается черезъ пески Чужой. Его одежда въ пыли. Позади его — длинная дорога. Его небритое лицо и впалые глаза говорятъ о безсонныхъ ночахъ.

Онъ не голоденъ. Есть еще хлѣбъ. Но мучитъ жажда, зной.

Невѣдомъ его дальній путь. Невѣдомъ самому. Но только подальше—подальше отъ людей...

Люди и онъ... между ними — бездна... Чужда ему человѣческая жизнь. Людскія стремленія. Непонятны и дики ихъ законы. Онъ презираетъ ихъ.

Есть въ жизни одинъ законъ — и закону этому повинуется въ природѣ все, начиная отъ небесныхъ свѣтилъ, пожирающихъ другъ друга, и кончая ничтожными насѣкомыми.

Законъ сильнаго — законъ звѣря.

Человѣческое—звѣриное «я хочу».

Дальше, дальше впередъ. Дальше отъ людей, придумавшихъ для сильныхъ тюрьмы, цѣпи, желѣзныя рѣшетки.

На рукахъ еще не зажили раны отъ прутьевъ чугунныхъ, подпиленныхъ твердой рукой. Въ ушахъ не замеръ еще лязгъ задвигаемыхъ засововъ.

Назадъ — никогда!

Рука судорожно сжимаетъ ножъ

Дальше, дальше — все равно, куда...

Поднимается вѣтеръ. Гудятъ пески.

Недовольно гудятъ, попираемые ногой Чужого.

Есть жизнь въ пескахъ.

Чужой — на откосѣ холма, и смотритъ, и смотритъ на нагую спящую дѣвушку. Бѣлое тѣло лежитъ на бѣломъ пескѣ. Закрыты глаза. А на устахъ тихая улыбка.

Снится милый бѣлой дѣвушкѣ...

Спускаются тучи. Воздухъ — раскаленный свинецъ. Вѣтеръ крутитъ песокъ, играетъ черными кудрями и гудитъ:

— Проснись, проснись, бѣлая дѣвушка!..

Жадные поцѣлуи, знойные поцѣлуи сыплются на тѣло дѣвушки.

Цѣпкія руки гасятъ ея сопротивленіе. Жестокіе глаза велятъ заглушить крикъ.

И страшны, и мучительны эти непрошенныя ласки...

Ласки Чужого... Ласки звѣря...

Не задѣла гроза песковъ.

Тамъ, за лѣсомъ, гдѣ ласкается къ небу зеленый бархатъ луговъ, прогрохотали ея громы, отсверкали молніи, пролился обильный дождь.

А надъ песками изъ сѣрой дымки падаютъ только теплыя капли.

Плачетъ чистыми, грустными слезами небо и глубоко уходятъ онѣ въ песокъ, берегущій страшную тайну.

Далеко черезъ пески, въ лѣсъ, гдѣ не выдастъ ихъ мохъ, уходятъ слѣды Чужого.

И на мѣстѣ послѣдней борьбы — невысокій песчаный холмикъ.

Наскоро, торопясь, забрасывалъ бѣлое тѣло Чужой. И крѣпко прижался къ нему влажный песокъ, и жадно впитываетъ въ себя теплую кровь, сочившуюся изъ дѣвичьей груди...

Сѣрыя и злыя, переговариваются на опушкѣ любопытныя всезнайки-вороны.

Молчатъ пески...

Виновна.

— А я тебѣ говорю, что былъ десятокъ! — визгливо кричала толстая женщина въ красномъ капотѣ, тыча мясистымъ пальцемъ въ стоящую передъ ней тарелку.

— Да брось, Маня! — отозвался изъ сосѣдней комнаты мужъ, — ну, велика важность, что Луша взяла одно яблоко?

— Не брала я вашихъ яблокъ! — грубо отвѣтила дѣвушка въ засаленномъ фартукѣ.

— Она не смѣетъ лгать! Не смѣетъ! Дрянь! Воровка! — истерически выкрикивала женщина въ капотѣ.

Мужъ демонстративно захлопнулъ дверь. Толстая женщина съ трескомъ отодвинула тарелку, сказавъ:

— Растопляй плиту!

Луша молча вышла изъ комнаты.

Эти сцены были такой же неотъемлемой принадлежностью сутокъ, какъ обѣдъ и ужинъ.

Несправедливость была тоже неотъемлемой частью Лушиной жизни. Она не помнила періода, когда за ней не кралась бы по пятамъ эта черная, надоѣдливая тѣнь.

Лушино дѣтство — сплошной сѣрый комокъ, склизкій и отвратительный. Оно шло подъ аккомпаниментъ брани вѣчно пьянаго отца и причитанія

больной матери. Съ восьми лѣтъ Луша была нянькой, кухаркой, судомойкой.

Когда умеръ отецъ, мать разсовала дѣтей по пріютамъ и родственникамъ и пошла работать. Черезъ полгода умерла и она. Но перемѣна была очень небольшая: дома ее колотилъ отецъ, здѣсь била возненавидѣвшая ее съ самыхъ первыхъ дней тетка.

Дядя, безвольный, слабый, въ душѣ очень любившій дѣвочку, задумалъ отдать ее въ школу. Тамъ въ ея дѣтскомъ мозгу забрезжило впервые сознаніе человѣческаго достоинства. Но проявлялось оно у нея въ довольно своеобразной формѣ. Раньше дѣвочка молчаливо сносила побои, упреки, брань— теперь стала грубить и огрызаться.

Когда появилась на свѣтъ первая двоюродная сестра — Лушу взяли изъ школы и запрягли въ знакомое ей съ дѣтства ярмо няньки.

Дядя протестовать не смѣлъ. Марья Ивановна была въ домѣ диктаторъ.

Луша очень любила дядю. Она инстинктивно чувствовала, что и онъ несчастенъ, что и его жизнь отравлена существованіемъ толстой женщины съ грубыми руками.

Луша ненавидѣла тетку всей душой, но ненависть ея была ненавистью слабыхъ, униженныхъ, безвольныхъ.

Ненавистью червяка, попираемаго грубымъ сапогомъ.

По праздникамъ, взявъ двоюродныхъ сестренокъ, Луша шла съ дядей въ церковь. Стояла добросовѣстно всю обѣдню, прислушиваясь къ давно знакомымъ, но ничего не говорящимъ словамъ службы. Усердно крестилась. Клала земные поклоны.

Но зачѣмъ дѣлала это она, чего просила у Бога — Луша не знала.

Была ли Луша добра?

На дворѣ она часто дѣлилась послѣднимъ кускомъ съ тощими кошками, сметенныя со скатерти крошки отдавала голубямъ.

И если бы кто спросилъ Лушу, зачѣмъ она дѣлаетъ это, отвѣтила бы серьезно:

— Вѣдь они голодны!..

Голодъ — это страданіе было слишкомъ хорошо знакомо Лушѣ и всякое голодное существо возбуждало въ ней глубокое состраданіе.

Завидовала ли Луша богатымъ, сытымъ, красиво одѣтымъ?

Она ихъ глубоко презирала.

Но никогда ей въ голову не приходило, что у нея, Луши, могутъ быть красивыя платья, кольца и деньги.

А когда она видѣла дворничихину Шурку въ шляпкѣ съ перомъ, въ яркой шелковой блузкѣ, съ розовой вуалью на раскрашенномъ лицѣ, — Луша, любопытно оглядывая ее съ ногъ до головы, бормотала:

— Дрянь!

А почему Шура — дрянь, почему нельзя такъ жить, какъ она — этого Луша не знала.

Дѣвушка быстро шагала по улицамъ пригорода, кутаясь въ большой платокъ.

Дулъ рѣзкій вѣтеръ. Моросилъ дождь. Несмотря на конецъ августа, цѣлую недѣлю стояла холодная погода. Улицы пригорода обратились въ сплошное болото.

Луша бѣжала къ портнихѣ. Марья Ивановна велѣла поторопиться съ платьемъ.

Луша шла сюда всегда очень неохотно, особенно вечеромъ. Она плохо оріентировалась въ этихъ переулкахъ, въ этихъ однообразныхъ уличкахъ, гдѣ можно было заблудиться и днемъ.

— Кажется, этотъ поворотъ... Фу, да здѣсь нѣтъ ни одного фонаря... А грязь, навѣрное, такая, что можно утонуть по колѣно...

Луша пробиралась ощупью вдоль заборовъ и стѣнъ. Изъ чердачнаго окна падалъ свѣтъ, освѣщавшій громадную лужу посрединѣ улицы. Луша, занесшая было ногу, шарахнулась въ сторону и налетѣла на какую-то фигуру.

— Ай! — крикнула дѣвушка.

— Ага, попалась! — отвѣтилъ ей хриплый мужской голосъ и какая-то склизкая рука схватила ее за пальцы.

— Пустите, — испуганно вырывалась Луша, — мнѣ очень некогда!

— Ладно, ладно, — отвѣчала фигура, толкая ее къ забору.

При слабомъ свѣтѣ, падавшемъ изъ верхняго окна, мелькнуло Лушѣ бородатое лицо. Отвратительный запахъ неочищеннаго спирта и чего-то приторно-съѣстнаго обдалъ ея лицо.

Луша пробовала освободиться, но руки, обхватывавшія ея, становились все туже.

Тогда она крикнула — пронзительно и громко. И крикъ ея раскатился по темному переулку. Но въ ту же минуту кулакъ опустился на ея лицо, а другая рука сдавила горло. Луша пошатнулась отъ удара и упала на мокрое крыльцо.

И съ послѣднимъ проблескомъ сознанія почувствовала, что какое-то отвратительное пьяное животное навалилось на нее всей своей тяжестью.

Воспоминанія этого вечера остались въ Лушиной памяти, какъ отдѣльные обрывки какого-то страшнаго кошмара.

Быть можетъ, Луша примирилась бы современемъ съ совершившимся ужасомъ, какъ мирилась со всѣми несправедливостями своей жизни. Но вѣдь кошмаръ имѣлъ осязательныя послѣдствія!..

Не сразу пришла къ этому сознанію Луша. А когда пришла — застыла въ тупомъ ужасѣ.

И одна мысль была въ ея мозгу, одна мучительная мысль:

— Какъ скрыть?

Недѣля шла за недѣлей, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, и чѣмъ ближе подходилъ рѣшительный срокъ, тѣмъ равнодушнѣй и тупѣе становилась Луша.

И думала только объ одномъ: чтобы тетка не замѣтила.

Сколько чисто звѣриной хитрости надо было Лушѣ, чтобы тетка не проникла невзначай въ ея тайну.

На какое избавленіе надѣялась она? Чего ждала?

Луша и сама этого не знала.

Мало было народу въ залѣ суда, когда разбиралось дѣло мѣщанки Лукерьи Петровой, обвинявшейся въ убійствѣ своего новорожденнаго младенца.

Молодой адвокатъ, поглощенный мыслями о завтрашнемъ громкомъ процессѣ, гдѣ онъ будетъ выступать наряду съ крупными свѣтилами юридическаго міра, говорилъ вяло и лѣниво.

Онъ не потрудился разбить стѣну недовѣрія, выросшую въ душѣ его подзащитной, не попробовалъ даже добраться до тайниковъ Лушиной души. И защищалъ ее общими готовыми фразами.

Луша отвѣчала на всѣ вопросы такъ равнодушно, словно не отдавала себѣ отчета въ томъ, что ждетъ ее за стѣнами зала.

Когда спросили, что побудило ее задушить ребенка, она открыла широко глаза и просто отвѣтила:

— А куда же съ нимъ-то?

Отвѣтъ обвиняемой показался присяжнымъ циничнымъ и грубымъ...

А когда судъ вынесъ Лукерьѣ Петровой обвинительный приговоръ — лицо подсудимой осталось такимъ же равнодушнымъ.

Ни страха, ни раскаянія — ничего нельзя было прочесть въ ея чертахъ.

Ничего, кромѣ тупой и равнодушной покорности судьбѣ...

Цѣна въ Латвіи,
Эстоніи и Литвѣ — **1** латъ
„ „ Франціи и Бельгіи **10** фр. франковъ
„ „ другихъ странахъ **45** ам. центовъ